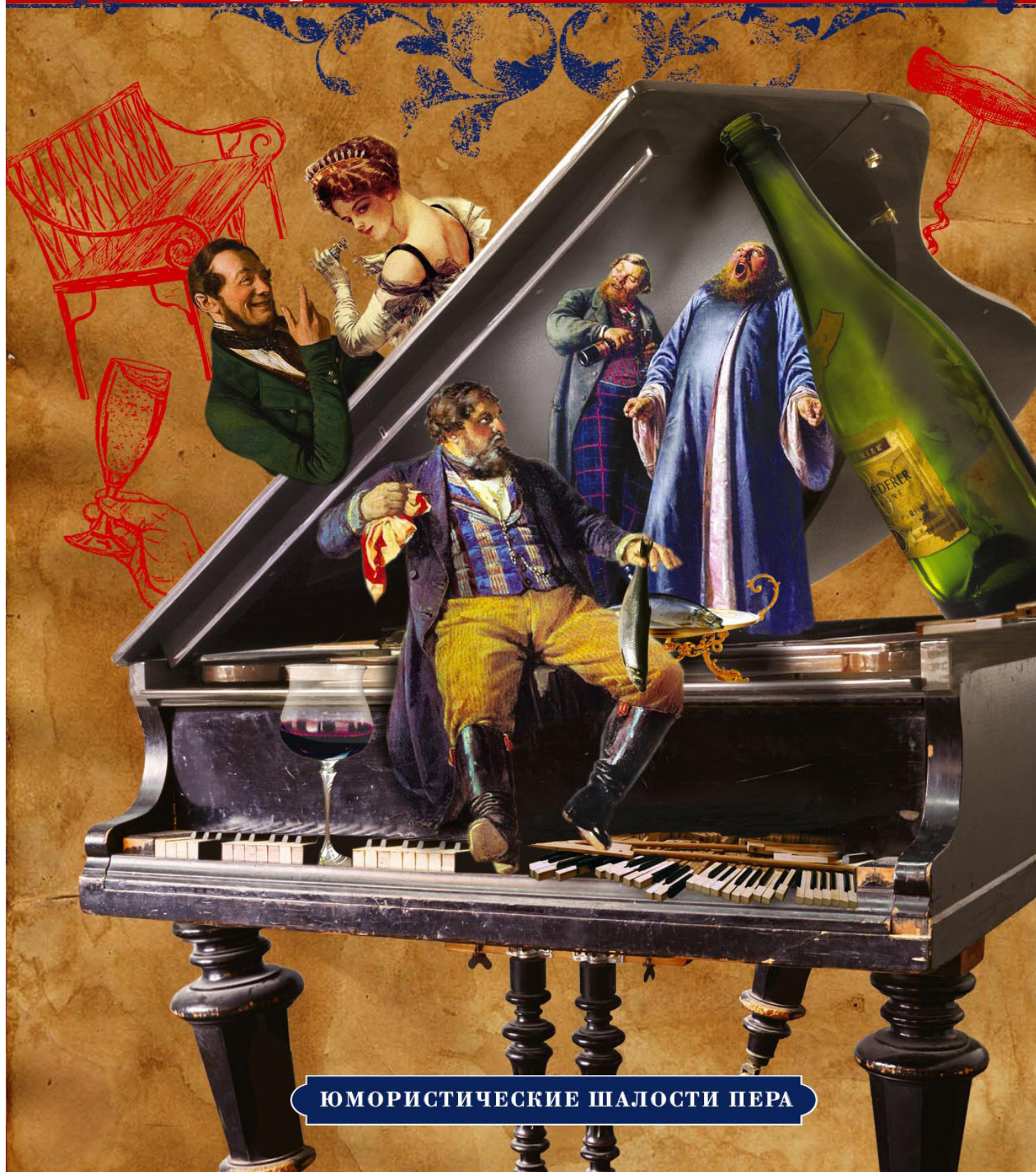


Д. Николаи Демирин

ради потехи



ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ШАЛОСТИ ПЕРА

Николай Лейкин

**Ради потехи. Юмористические
шалости пера**

«Центрполиграф»

1879

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

Лейкин Н. А.

Ради потехи. Юмористические шалости пера / Н. А. Лейкин —
«Центрполиграф», 1879

ISBN 978-5-227-10238-6

В очередном сборнике юмористических рассказов Николай Александрович Лейкин удивляет необычными историями из жизни обыкновенных, привычных бытовых предметов: штопора, бутылки шампанского, мелкой купюры, еды и даже рояля. Каждый предмет преломляет происходящее вокруг через свою уникальную призму, пронизывая повествование как символичностью, так и интересными деталями. Не обошел автор вниманием свои излюбленные и хорошо изученные темы, в меньшей степени связанные с предметами: купечество и его образ жизни, странные попутчики в дороге, дачники и игроки, бедность и пьянство. Что бы ни происходило вокруг него, он внимательно подмечает и описывает все, на что падает его взор, будь то определение времени дня по занятиям дам или лунное затмение, и получается это весьма остроумно.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1

ISBN 978-5-227-10238-6

© Лейкин Н. А., 1879
© Центрполиграф, 1879

Содержание

Записки неодушевленных предметов	6
I. Записки рояля	6
II. Записки штопора	10
III. Записки рублевой бумажки	15
IV. Похождения шампанской бутылки	25
V. Из записок садовой скамейки	33
VI. Похождения сахарного яйца	38
VII. Новогодние похождения визитной карточки, ею самую описанные	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43



Николай Лейкин
Ради потехи. Юмористические
шалости пера

© «Центрполиграф», 2023

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023

* * *

Записки неодушевленных предметов



І. Записки рояля

Отец мой – фортепьянный мастер Лихтенталь. Это я знаю из надписи, прибитой на мне. Детства своего, во время которого я формировался в совершенный музыкальный инструмент, я не помню. Помню только одно: что все заботы воспитателей моих клонились к упрочению во мне послушания перстам лиц, ударяющих в мои клавикорды. Неумелый человек извлечет из меня только дикие звуки, зато талантливый музыкант, прикасаясь ко мне, может излить свою душу. Я послушен, а потому, судите сами, каково приходится мне, ежели в меня ударяет музыкальный невежда. Первое время я плакал, отчего у меня вскоре заржавело несколько струн, но впоследствии чувства мои притупились, и, вынося на себе даже большие безобразия, я только глотал слезы, затаив их в своей груди. Однако, к делу...

Мне очень памятен тот день, в который я вышел из-под родительского крова и начал свой тернистый жизненный путь. Я стоял в зале моего отца рядом с моими братьями, как вдруг пришли двое элегантно одетых молодых людей. Они казались беззаботными. Один из них все насвистывал итальянские арии и то и дело взбивал свою роскошную шевелюру.

– Скажите, пожалуйста, добрый друг, вы отдаете рояли напрокат? – спросил он вышедшего к нему в залу немца.

– Отдаем-с.

– В таком случае я позволю себе рекомендоваться вам. Я профессор музыки в варшавской консерватории, Бенислав Станиславович Зкржицкий, и мне, именно на время моего кратковременного пребывания в Петербурге, нужен рояль напрокат, но рояль прежде всего хороший, новый, а не балалайка. За ценой я не постою. Теперь, как это мне ни неприятно, но я должен разоблачить перед вами некоторую тайну, разумеется, надеясь на вашу скромность.

– О, господин, будьте покойны!

– Вот, видите ли, в чем дело. Вот уже год, как я совершаю артистическую поездку по главным городам Европы и теперь приехал в Петербург. В Милане я познакомился с одной русской аристократкой, которая замужем за испанским маркизом ди Купорос. Она влюбилась в меня и в мой талант по уши и всюду следует за мной. Она в Петербурге. Связи и аристократические знакомства не позволяют ей часто принимать меня у себя в отеле, а потому мы наняли небольшую каморку на Песках, где и блаженствуем незримо для сплетен... Вы понимаете? Блаженство наших свиданий – немыслимо без музыки, а потому я и желал бы взять напрокат рояль. Вот моя карточка.

Артист небрежно швырнул на стол элегантную карточку.

– Послушай, Бенислав, ты лучше купи рояль, а то напрокат дадут тебе какую-нибудь дрянь, – вмешался в разговор товарищ артиста.

– Ах, боже мой, но стоит ли покупать, когда в Петербурге я не намерен пробыть более двух месяцев! Ты знаешь, в Вене я купил рояль, и что же? Через месяц пришлось продать его за бесценок. Бросать опять триста – четыреста рублей не намерен.

– О, помилуйте, мы дадим вам напрокат самый лучший инструмент, – заговорил немец. – Вот этот... – И он указал на меня.

– Жорж, голубчик, попробуй тон у рояля! – обратился музыкант к товарищу. – Представьте, со мной несчастье: я порезал себе палец и может быть, неделю буду лишен возможности извлекать звуки из столь любимого мною инструмента! Для меня это муки Тантала! Садись же, Жорж, и попробуй, а то мы опоздаем на обед к графине...

– Но ты знаешь, ведь я в музыке профан, и кроме «Чижика»...

– О боже мой! Сделай аккорд – и довольно!

На мне что-то пробренчали.

– Превосходно, превосходно! – говорил артист, откидывая назад свои волосы. – Вы знаете, я всегда хвалил ваши инструменты, даже и печатно. Ну-с, сколько стоит будет? Я торговаться не буду. Рояль вы пришлете по адресу сегодня же и получите деньги – вот от него. Прощайте! Послушайте, мой добрый друг! – прибавил он, взяв немца за плечи. – Я надеюсь на вашу скромность... потому что все, что я вам рассказывал...

– О, помилуйте!

Молодые люди распрощались с хозяином, а к вечеру я был перенесен на Пески, в «комнаты снебелью», и поставлен в одной из них. Меня принял товарищ артиста, заплатил деньги и выдал расписку во взятии напрокат рояля, причем подписался бароном Эйзенштубе. Немец, доставивши меня, настроил меня и ушел. Но лишь только он успел выйти за двери, как из другой комнаты выскочил артист.

– Bravo, bravo, Петя! Теперь мы спасены! У меня будут деньги и на букеты для Жюдик! – воскликнул он, хлопая в ладоши. – Ведь под эдакую прелесть смело триста рублей дадут!

– Только вопрос: куда заложить? В «громоздкое» или к архаровцам? С Карповичем я не хочу связываться – слишком публичен!

– Не беспокойся! Я уже распорядился, – отвечал товарищ. – Ровно в шесть часов сюда явится один иудей с Петербургской, содержащий «гласную», – и деньги у нас в кармане. Сейчас же заведи из-за чего-нибудь спор с хозяйкой, обругай ее и объяви, что мы завтра же съезжаем с квартиры. Ты еще не отдавал своего паспорта в пропуску?

– Ну вот еще! За кого ты меня считаешь?

Вечером был иудей. Он долго меня рассматривал, тыкал пальцами в клавиши, для чего-то даже нюхал и лизал верхнюю доску и не только что взял меня в залог, но даже купил. Торговался он самым отчаянным образом, начав давать за меня только сто рублей. Он божился, плевался, несколько раз убежал вон, прибежал снова и в конце концов дал 293 рубля. Началось писание расписки: что, дескать, «я, нижеподписавшийся, продал гомельскому купцу Берке Шильдермейер принадлежащий мне» и т. д., причем артист, назвавшийся польским графом,

подписался уже «отставным юнкером». При расчете иудей недодал 78 копеек. В доказательство, что у него нет больше денег, он выворачивал свои пустые карманы и, уходя, выпросил у артиста впридачу к роялю тюрик с колотым сахаром.

Через полчаса меня взяли носильщики и понесли к иудею на Петербургскую сторону. Радостными криками встретили многочисленные ребятишки иудея и, воспользовавшись тем, что тятеньки не было дома, принялись играть на мне «Чижика». Обидно было мне, и я еле сдерживал слезы. Не такой деятельности жаждал я для себя. Вскоре однако явился сам иудей, дал ребятишкам по подзатыльнику, и они с ревом разбежались.

У иудея я стоял недолго. Через три-четыре дня он продал меня за 375 р. в какой-то французский ресторан, и вот я очутился в отлично убранном отдельном кабинете. Мягкая причудливая мебель соперничала с роскошной бронзой, дорогой ковер хвастался своим достоинством перед тяжелой портьерой. Здесь и началась для меня настоящая жизнь. Были и сладкие минуты, были и горькие. Иногда приходилось мне видеть в день по полусотне людей. Никогда не забуду я сцены, которую я сейчас расскажу. Это были мои лучшие минуты.

В кабинет вошли молодой брюнет, небрежно, но к лицу одетый, и стройная женщина под густой вуалью.

– Каюм! Встань у двери и карауль! Когда будет нужно, я позову! – обратился брюнет к сопровождавшему его татарину во фраке и белом галстуке.

– Слушаю-с, ваше сиятельство!

Впоследствии я заметил, что татары-лакеи всех называют «сиятельством».

Молодая дама как вошла, так и остановилась как вкопанная посреди комнаты. Брюнет подошел к ней и взял ее за руку.

– Ну-с, теперь вы можете быть как дома, – сказал он. – Откиньте ваш вуаль, снимите шляпу. Вы знаете, что я ношу в моей трости стилет, а потому постороннее лицо может войти в эту комнату, только перешагнув через мой труп!

– Теодор, голубчик, решай скорей, что нам делать! Завтра назначена моя свадьба! – воскликнула в ответ девушка и бросилась на грудь к молодому человеку. – Папаша и слышать не хочет об отказе, а я и вздумать без дрожи не могу о моем женихе. Посуди сам: ведь ему за шестьдесят! Весь накрашен, вставные челюсти трясутся! О боже мой! Боже мой!

– Надо бежать из Петербурга, и бежать сегодня же, через час... Больше ничего не придумаешь. Мы поселимся где-нибудь в деревне, а о нашем местопребывании дадим знать телеграммами твоему жениху и твоему отцу.

– Но ведь это будет скандал на весь Петербург!

– Тем лучше. По поводу этого скандала твой жених и сам откажется от тебя.

– Теодор, я не успела проститься даже и с матерью, а ведь она добрая! Ты знаешь, ведь я поехала в Гостиный двор, а сама сюда... Лакей и карета и посейчас в Гостином дворе. Вразуми, научи, нельзя ли как-нибудь иначе...

Вместо ответа, молодой человек откинул у девушки вуаль, снял с нее шляпку, тальму и посадил ее на диван. Лицо ее было прелестно. Она сидела не шевелясь, как изваяние, и тихо шептала:

– Дай мне подумать, дай хоть пять минут подумать! Оставь меня! Отойди от меня!

– Изволь, – отвечал Теодор.

Он встал, подошел ко мне, роялю, открыл крышку, сел и начал перебирать пальцами по клавишам. О, я сейчас почувствовал, что это были умелые руки артиста! Он наигрывал какую-то собственную фантазию, через минуту эта фантазия перелилась в Мендельсона, послышались звуки его бессмертных «Lieder ohne Worte». Я просто плакал под перстами даровитого пьяниста, плакала и девушка. Душу шевелящие мотивы между тем лились и лились. Вдруг она встала, подошла к молодому человеку, наклонилась, обняла его и тихо шепнула:

– Теодор, я согласна!

Быстро перешел Мендельсон в Шопена, но она не дала ему продолжать...

Легкий обед, бутылка шампанского, поцелуи, сладкие речи, и через час они удалились, порешив «бежать».

Я недолго оставался в одиночестве. Скоро в кабинет ввалилась пьяная компания. Начался крик, шум, татары замелькали фалдами.

– Полдюжины тащи! Да смотри английского погребца, потому другой шипучкой я только лошадей пою! – кричал молодой тщедушный блондинчик с крупными бриллиантовыми запонками на сорочке и с тысячным перстнем на указательном пальце.

– А, и музыка есть! Чудесно! – восклицал, в свою очередь, толстый краснорожий бородач с такой цепью на брюхе, что она в состоянии была бы выдержать целую свору собак.

– Сеня! Покажи-ка свою науку; сваргань что-нибудь поеленистее с заборцем! Ну, дыши, нешто для Ивана-то Спиридоныча не хочешь? Ведь сегодня мы его мальчишник справляем! Накаливай! Накаливай! Что пальцы-то жалеть? – слышались со всех сторон возгласы.

– Сеня, не кобенься! А жарь, да и делу конец! А то тебя и поить не стоит! Потешь восемипудового калашниковского-то! – наставительно заметил блондин в бриллиантах, очевидно, виновник мальчишника. – Долой крышку! Хочу, чтобы струны были видны!

– Да не отпирается.

– Ломай! За все плачу!

Компания бросилась ко мне, запела «Дубинушку», налегла на крышку и оторвала ее.

Раздались оффенбаховские мотивы и быстро перешли в русскую «Феню». Кто-то стучал по моим басовым клавишам даже кулаком, изображая колокола. Я плакал и издавал дикие звуки. А между тем хлопали пробки шампанского, вино лилось рекой.

Вдруг зазвенела посуда. Стол был опрокинут. На шум вбежали татары.

– Плачу! За все плачу! – выделялся среди шума и гама выкрик. – Теперь, ребята, в Воронинские бани едемте!

Через четверть часа кабинет был пуст. Татары-лакеи прибирали черепки. Я глядел на развалины пиршества и плакал. Боже! Какие контрасты пришлось мне видеть в первый день моего пребывания в ресторане!

II. Записки штопора

Родился я «Втуле». Это я узнал из той надписи, которая вытеснена на моем теле, между спиралью и ручкой. Она гласит: «Мастер Горшкоф Втуле». Тула – город русский, а потому и я русский. Отцом моим был, как вы видите, мастер Горшков, ну а матерью, само собой, железо. Ни Тулы, ни раннего детства своего я не помню. Насчет этого, должно быть, отшибли у меня память тем молотком, которым меня ковали.

Я помню только то, что впервые я узрел свет в гостинодворской лавке, что на Зеркальной линии. Свет, который я узрел впервые, был, впрочем, не дневной, а газовый. Меня вынули из пачки, завернутой в серую бумагу, где я лежал в сообществе других штопоров, и положили в витрину. В витрине я лежал уже в сообществе с золотыми браслетами и с бриллиантовыми серьгами, и это льстило моему самолюбию. Случилось это в рождественский сочельник. К нам заходило очень много публики, покупать подарки на елку. Спрашивали портмоне, портсигары, несессеры, но о штопоре никто и не заикнулся. Так пролежал я часа два. Вдруг вошел чиновник. О том, что он был чиновник, я узнал по фуражке с кокардой, которая была надета на его голове.

– Есть у вас штопоры? – спросил он.

– Есть-с, пожалуйста, самые лучшие, – отвечал приказчик, из учтивости как-то проглатывая слова или давясь ими, и вынул меня из витрины. – Этим штопором можно самого Елисева откупорить, а не токмо что бутылку с елисеевским вином, – сострил он. – Семьдесят пять копеечек, – объявил он цену.

– Что вы! Что вы! Наш экзекутор пятьдесят копеек заплатил за такой же.

– У нас в магазине не торгуются, цены решительные... Прификс, – отчеканил приказчик.

– Как хотите, больше полтины я не дам!

Чиновник двинулся к двери. Приказчик остановил его.

– Хорошо, извольте! – крикнул он ему вслед, и я был продан за полтину.

Расплатившись, чиновник запрятал меня в карман и вышел из лавки.

– Откуда и куда? – окликал его кто-то.

– Да вот бегу кой-что для праздника закупать, – отвечал он, остановившись. – Жена дала деньги и просила купить кухарке ситцу на платье, кой-какой посудешки, барабан сынишке, сахару, чаю, ну надо в колбасную зайти и отобрать закусочки соленькой. Сейчас вот штопор купил. Сломали у нас недавно... А на праздниках, сам знаешь, как быть без штопора?

– Доброе дело, доброе дело. Вчера жалованье-то получили?

– Вчера. Прощай! Тороплюсь! Надо еще местов в пять зайти, прийти домой да отправиться с женой ко всенощной. Думаем в Невский монастырь съездить. Монахи там поют прелесть! Кстати и прокатимся.

– А не зайдём в трактирчик колдыбнуть по баночке? Столько времени не видались!

– Некогда, некогда, Петр Иваныч!.. В семь местов... Долг еще надо отдать в мясную...

– Да на минуточку. Теперь только четвертый час.

– Не могу, не могу.

– Ну, на полминуточки. Долбанем и разойдемся.

– Эдакий ты неотвязчивый! Разве уж только на одно мгновение. Ну, пойдем скорей!

Приятель зашел в трактир и выпили у буфета по рюмочке. Петр Иваныч угощал. Чиновник счел за нужное ответить ему тем же. Повторили.

– Ба! Да ведь ты меня с новорожденным еще не поздравлял! – воскликнул Петр Иваныч. – У меня на прошлой неделе жена родила. Дайте-ка нам графинчик!

– Не могу, друг любезный, в десять местов надо, а жена ждет ко всенощной... Ах как прелестно эти монахи поют! Прощай!

– Садись! Успеешь еще! Ведь закупки все в одних местах будешь делать?
– Разве на минуточку. Да кстати уж и селяночку на скорую руку съесть. Признаться сказать, что-то плохо обедал сегодня. Закажите-ка рыбную селяночку! Да только поскорее!

Чиновник сел. Подали графинчик. Пробило четыре часа.

– Ах, боже мой, пора, пора! – засуетился он.

Но тут подоспела селянка.

– Покажи-ка, какой такой штопор-то купил, – проговорил Петр Иваныч.

– Да обыкновенный штопор, – ответил чиновник и достал меня из кармана.

– Знаешь что, Сеня? Нужно его обновить. Дайте-ка нам полбутылочки хереску! А откупим мы сами.

– Да нельзя, голубчик! Сам посуди: в девять местов надо!

– Успеешь, я тебе говорю! Сегодня все лавки до одиннадцати часов вечера отворены!

Меня обновили. Пробило пять часов, но хозяин мой не обратил уже на это никакого внимания, а потребовал еще бутылку хересу. Язык его уж заплетался.

– Действительно, что за радость вести жену в Невский ко всеобщей, – сказал он. – Еще простудится, а там зови доктора! Так ты говоришь, что сегодня купцы до одиннадцати часов торгуют?

– До двенадцати даже.

– Ну, коли так, так успею! Ведь я, Петя, нынче совсем домосед. Никуда из дома!.. Жена у меня – ангел, и я ценю это. В трактиры я ни-ни!.. И все для дома! Все для дома! Сегодня исключение, потому что очень рад, что с тобой увиделся.

Бутылка хересу была кончена. Часы показывали семь, но это уже не пугало моего хозяина.

– Два стакана пуншу, да покрепче! – крикнул Петр Иваныч.

– Что пунш! Выпьем шампанеи бутылочку. Уж кутить так кутить! – отвечал мой хозяин. – Бутылку шампанского! За здоровье твоего младенца хочу пить!

– Не позволяю! За своего младенца я сам поставлю, а это за твою жену!

– Что? Не позволяешь? Где бутылки, коли так! Я те покажу, как наши гуляют!

В девять часов приятели, еле держась на ногах, выходили из трактира.

– Ты куда теперь?

– Прямо в колбасную! Чаю, сахару... колбаски... Да!.. Барабан еще! Ну, прощай!

Хозяин мой нанял извозчика, но ни в колбасную, ни домой не попал, а застрял где-то в знакомой портерной, откуда мальчишка-портерщик и привел его домой.

Жена сама ему отворила двери, да так и всплеснула руками.

– Не стыдно это тебе? – воскликнула она. – В эдакий день и в таком виде! Люди в этот день пищи не вкушают, а он пьян! Купил, что я тебе приказывала?

– Купил, – отвечал чиновник и, цепляясь за стену, побрел в комнаты.

– Где же эти покупки-то у тебя? Где? – приставала она к нему.

– А вот!

Он вынул меня из кармана и положил на стол.

– Что это? Штопор? Зачем? Где же чай, сахар, закуски? Неужто на пятнадцать-то рублей, что я тебе дала, ты только один штопор купил? Где же деньги-то? Где они?

– Деньги? Деньги – фю!

Вместо ответа, муж свистнул, повалился на диван и вскоре захрапел.

Жена начала шарить у него по карманам, но, кроме несколько мелочи, ничего не нашла.

Бедная женщина даже заплакала и, увидав меня лежащим на столе, схватила и кинула на окно, где я и пролежал до утра.

Настал день Рождества. Хозяин мой ходил по комнате мрачный, отпивался огуречным рассолом и упорно молчал. Жена тоже не говорила ни слова. Вдруг у входных дверей постучались.

– Марфа! – крикнула она кухарке. – Коли дворники или сторожа из департамента с праздником поздравлять, так скажи, что нас дома нет! Делать нечего, надо как-нибудь навестывать! Шутка! Пятнадцать рублей вчера не пито не едено потеряли! Господи! И хоть бы что путное на эти деньги купил, а то вдруг – штопор!

– Нет ли у вас штопора? – раздалось в кухне. – Одолжите, пожалуйста. Свой куда-то завалился; ищем-ищем, не можем найти, а барин вина требует.

Это был голос соседского лакея.

– Натe, возьмите! Можете даже на все праздники у себя оставить! – крикнула чиновница, схватила меня с окошка и с каким-то злорадством сунула лакею.

Лакей потащил меня к себе, откупорил бутылку красного вина и вместе с бутылкой внес и меня на подносе в столовую, где и поставил на стол. На столе стояли окорок ветчины, фаршированная пулярка и разные соленья. За столом сидели два господина. Один седой, с бакенбардами котлетой, другой черный, с бородой.

– Ну, что нового у вас, в Москве? – спрашивал бакенбардист, наливая два стакана вина.

– Ох, и не спрашивайте! Совсем плохо! – отвечал бородач. – Удар за ударом! Какой-то немец сумел дисконтировать в наших частных банках на полмиллиона фальшивых векселей и удрал за границу, предварительно угостив лукулловским завтраком банковых директоров. И все это случилось перед праздниками. Вот какой подарочек на елку получила наша Москва!

В это время в комнату вбежал лакей, схватил меня со стола и потащил в кухню. Там стояла миловидная горничная в туго накрахмаленном платье.

– Штопорчик вам? Пожалуйста! Только не затеряйте, пожалуйста, – проговорил лакей, – потому это не наш, а чиновничий. Эх, следовало бы с вас, Дарья Степановна, два поцелуйчика сегодня за этот штопор, ну да завтра сочтемся.

– Ошибаетесь! Не в ту струну попали! Сегодня не Пасха! – отвечала горничная, взяла меня и, шурша юбками, побежала по лестнице наверх.

– Держи! Держи ее! – крикнул лакей и захлопал в ладоши.

Горничная принесла меня к себе в каморку. Там за столом, на котором стояли ветчина и две бутылки пива, сидел бравый гвардейский «ундер» и крутил ус.

– Натe, откупоривайте сами, а у меня силы нет! – сказала она и кинула меня на стол.

– Это ничего не обозначает, потому вы животрепещущий бутон и ваша сила в скоропалительной любви всех семи чувств, – проговорил заученную фразу ундер и принялся раскупоривать бутылки.

– Пожалуйста, зубы-то не заговаривайте! Вы ведь антриган! – скокетничала горничная и села.

Ундер послал ей через стол летучий поцелуй и продекламентировал:

Сколь, Агнеса, ты прекрасна!
С дрожью можем мы сказать!

– Порадейте православные насчет штопорика! – раздался в кухне чей-то голос. – У нас и своих два было, да пришли к хозяину певчие с праздником поздравлять, начали силу зубов пробовать, рюмки грызли да и штопоры кстати переломали.

Это был голос купеческого молодца. Горничная вынесла ему штопор.

– Возьмите, только не потеряйте, потому это не наш, а из седьмого номера! – сказала она.

– Коли штопор потеряю, ваше сердце обрету! – сминдальничал молодец и схватил ее за талию.

– Пожалуйста, без глупостей!
Молодец скрылся.

Я очутился в зале купеческой квартиры. В углу стоял стол, украшенный закусками, графинами и бутылками, и между всего этого возвышался огромный окорок ветчины. У стола сидел купец в медалях на шее и улыбался во всю ширину своего лица, нисколько не отличающегося своим цветом от ветчины. Перед купцом стояли певчие в кафтанах. Тут были большие и маленькие.

Они пили и ели. Кто держал в руках рюмку, кто кусок пирога. И сам купец, и большие и малые певчие – все были пьяны.

– Всем я благодатель! – говорил купец. – У меня в праздник приходи хоть с виселицы, прославь меня, и после этого пей и ешь. Сколько вам дал купец Крутолобов за христомлавенье?

– Лиловую отвалил! – отвечали певчие.

– Ну а Волопятов?

– Три румяные.

– Так. Сколько же после этого меняла из Троицкого переулка отвалил?

– Менялу не застали. Его и в Петербурге нет. Он уехал с женой в Москву гулять. Бойтся здесь-то. Того и гляди, говорит, с моей гульбой-то в газету попадешь. Ведь очень он насчет гульбы-то ядовит!

– Ну а Затылятников?

– Затылятников семь донских прожертвовал.

– Отлично. Ну а я серию дам, как есть серию, и с процентами, только возвеличьте меня!

– Погодите, Родивон Михайлыч, дайте передышку легкую сделать, а там два концерта зараз отвалаем!

– Премудро! Братцы! Пей, ешь и веселись. Кто меня любит, тот из бутылочного горла и до дна!

Певчие схватили по бутылке и начали пить из горла. Хозяин ликовал и рдел от восторга. Явились парильщики и начали поздравлять.

– Банные люди! Можете вы меня возвеличить и превознести?

– Когда угодно, ваше степенство, тогда и возвеличим! До самого полка вознесем, потому что вы у нас купец обстоятельный, – отвечали парильщики.

– Пейте, коли так!

И люди пили. Признаюсь, у купца мне было много дела, и я порядочно-таки утомился. Душевно рад я был, когда меня потребовали в другую квартиру, к портному. Портной вернулся откуда-то из гостей с подбитым глазом, и увы! Мне пришлось откупоривать уже не вино, а бутылку свинцовой примочки. О! Как не хотелось влезать мне в пробку ненавистной для меня примочки! Это совсем не входило в мою специальность. Я заплакал. Но судьба судила мне еще более печальную участь! Вечером пришлось мне откупоривать даже бутылки с лекарственным лимонадом, принесенным из аптеки!

Рад-радешенек я был, когда попал в молодцовскую комнату приказчиков того купца, которого возносили и возвеличивали певчие и парильщики. Сначала мне пришлось откупоривать пивные бутылки, и, исполнив это с подобающим достоинством, я отдохнул от моих дел на залитом пивом столе. Здесь я дежал довольно долго. Молодцы, одурманенные в конец, улеглись спать и захрапели на все лады. Они храпели так громко, что с первого раза мне показалось, что это играет оркестр под управлением капельмейстера Вухерпфенига. В комнате не спал лишь один молодой приказчик и ворочался с боку на бок. Кровать его находилась у запертой двери, замочная скважина которой была замазана замазкой и заклеена бумагой. За дверью слышались молодые женские голоса. Это была комната хозяйской дочки. У ней гостила подруга. Ложась спать, девицы резвились, смеялись, и это-то не давало покоя молодцу. Он сел на кровати и

начал что-то обдумывать, потом схватил меня со стола, засунул в дверную скважину, начал буравить замазку и... и в конце концов переломил мою спираль около самой ручки.

Я погиб! Имей я голос, я, наверное, взвыл бы белугой!

В это время в кухне раздался звонок, и спустя некоторое время я услышал знакомый мне голос. В кухню ломился чиновник, мой первый владелец, купивший меня в Гостином дворе. Он был пьян и требовал свой штопор...

Его удалили из квартиры с помощью дворников.

III. Записки рублевой бумажки

Пишу эти записки на закате дней моих, в то время, когда уже я вконец обтрепалась, потеряла свой первобытный глянец, утратила правый номер, пропахла запахом соленой рыбы, меди и сапожного товара, а злые люди вырвали из моего тела мою душу за подписью матери моей – Ламанского и какого-то кассира, фамилию которого я при всем желании так и не могла разобрать в течение всей своей жизни. Теперь я заклеена мацом, связана в пачку с другими бумажками, заключена в кладовую и осуждена на публичное всеожжение в железной клетке на дворе государственного банка. И это награда за долговременную скитальческую службу от убогого подвала бедняка до раззолоченных палат богача! Где же тут справедливость? С ужасом я ожидаю приближения моего смертного часа. Страшно! Страшно! Неужели неизвестный отец мой не спасет меня и не вырвет из мрачного заточения? Впрочем, нет, он и не обратит внимания на ничтожную рублевую бумажку!

Похождения свои в банке, среди банковских чиновников, я не буду описывать. Не потому, чтобы я не хотела выдавать семейных тайн, а просто потому, что все, что касается этой жизни, у меня изгладилось из памяти. Очень может быть, что кто-нибудь у меня и отшиб эту память.

Помню только одно: что на свет божий я явилась свеженькая, гладенькая, с приятным шелестом, веселенькая – точь-в-точь танцовщица, только что выпущенная из театрального училища в балет. Меня променяли на купоны второго внутреннего выигрышного займа, и я очутилась в объемистом и мрачном бумажнике купца, куда поместилась во весь свой рост, не быв даже сложенной пополам. Я лежала в сообществе крупных бумажек и гордилась этим, хотя они не обращали на меня ни малейшего внимания. Еще трехрублевые и пятирублевые иногда заговаривали со мной, но и то свысока; когда же я однажды обратилась с каким-то вопросом к сторублевой бумажке, то она презрительно улыбнулась подписью, скосила номера и крикнула: «Молчи!» Двадцатипятирублевые и десятирублевые бумажки громко, но почтительно захохотали. С тех пор я уже не решалась первая заговаривать со старшими.

С купцом я несколько раз была в купеческом клубе, сидела за карточным столом, но самый клуб видела только украдкой, в то время, когда купец вытаскивал из кармана бумажник и вынимал оттуда моих крупных сотоварищей по заключению. О, какие алчные рожи игроков приходилось мне тогда видеть! Какие позеленевшие губы и желтые лысины! Всякий раз, уходя из клуба, купец бормотал: «Ничего, нажгли бок, важно вычистили полушубок!» – и при этом плевал. В бумажнике купца пролежала я дней пять, после чего купец вынул меня, сложил пополам и в сообществе трех зелененьких бумажек запихал в конверт. В конверте этом было письмо следующего содержания: «Господин концертщик! Вы прислали мне кресло на ваш концерт, хотя я об этом и не просил вас. В концерте вашем я не был, считая лучше и полезнее провести это время в Туляковых банях, что и сделал. Но все-таки, не желая вас лишать подачки, посылаю вам 10 рублей, двойную цену против того, что стоит билет, прося на будущее время освободить меня от вашей любезности по части присылки билетов. За 5 рублей этих лишних денег, называемых вами призами, возьмите на себя любезность предупредить ваших собратьев по ремеслу, дабы и они не трудились мне присылать билеты на их кошачьи концерты или бенефисы, ежели не желают получать от меня цедулок, подобных сей цедулке».

Прочитав это письмо, концертант тотчас же разорвал его и проговорил:

– Э, наплевать! Брань на вороту не виснет, а деньги-то ты все-таки прислал, мой милый! Что ж, нам только этого и нужно! А до будущего года еще далеко, почтеннейший...

Концертант даже не успел и спрятать нас, приложение, в свой карман, как в кухне послышался резкий возглас кухарки:

– Дома нет!

– Как дома нет? А вот его калош, вот его пальто, – отвечал чей-то немецко-чухонский голос. – Я знай его пальто. Я сам шил, и он мне еще деньги не заплатил. Пустить меня! Как можно не пущать!

За дверью легкая борьба. Вскоре дверь отворилась, и показалась сначала спина с затылком, а потом и черномазое лицо портного.

– А, это ты, Карл Иваныч, – проговорил концертант. – Садись! Ты, верно, за деньгами? Плох, брат, сбор от концерта, совсем плох... Еле концы с концами свел. Водочки не хочешь ли?

– Я на мировой подам.

– Зачем к мировому, а ты зайди эдак через недельку.

– Нет, я на мировой...

– Экой ты несговорчивый! Ну, сколько там осталось за мной?

– 13 рубли. Два год хожу...

– Бери 10 и подписывай счет, а то так подавай к мировому, хлопочи, теряй время, – предложил концертант.

Портной почесал затылок, подписал счет и взял деньги.

«Мерзавец! Скотина!» – обменялись они друг с другом любезностью, и я очутилась в тощем кошельке немца-портного.

Немец тотчас же отправился к Карповичу. По дороге ему попадались давальцы его и ругали его, спрашивая, когда же он доставит им платье.

– Материю берете, жадничаете, а по месяцу несшитой держите.

– Ах, господин! Вы знает штучник! Это такой трекляты русски народ! – восклицал немец.

«Треклятый народ» был, однако, не русский штучник, а сам немец, ибо материя, о которой шла речь, была заложена у Карповича, как я узнала впоследствии.

Ростовщическое светило Карпович, слава которого гремела от Лиговки до Таракановки, от берегов Черной речки до Обводного канала, сам был в конторе. Немец выкупил у него из залога два сметанных пальто и не скроенную еще материю на сюртук, отдав ему взамен всего этого нас, покоившихся в его тощем кошельке. И тут я впервые увидела Карповича. Ей-ей, в нем не было ничего замечательного. Совсем обыкновенное лицо и ничего кровожадного или алчного. Нос на месте, два глаза как следует, уши короткие, как у всех людей, зубы изо рта не выдаются, но, кажется, вставные.

Карпович взял нас, бумажки, в руку и небрежно кинул в выручку. Я очутилась в большом сообществе зелененьких, синеньких, лиловеньких бумажек. Замечательно то, что в ростовщической выручке были все равны, и портретные бумажки не кичились предо мной, «канарейкой». Я попробовала было начать с ними разговор, но на самом интересном месте была вынута из выручки, и мои наблюдения над бумажками ростовщика ограничились только тем, что я заметила, что от большинства их пахло слезами.

Меня отдали какому-то франтоватому бакенбардисту взамен заложенной енотовой шубы. Он, не считая, схватил тощую пачку, в которой я лежала, и небрежно засунул ее в брючный карман. Уходя, он любезно раскланялся с Карповичем и сказал:

– Знаете, зачем я отдаю вам каждую весну свою шубу? Просто на хранение. Я заметил, что ни в одном магазине не сохраняют так меха во время лета, как у вас. Ей-богу. И вот, вследствие этого, я нахожу даже более выгодным платить вам большие проценты. Года четыре тому назад я отдал мою ильковую шубу в меховой магазин, и, представьте себе, мерзавцы наполювину скормили ее молеедине.

Вышедши из подъезда, бакенбардист вскочил в эгоистку и помчался по Невскому. Вскоре мы приехали в цветочный магазин. Бородатые приказчики встретили бакенбардиста поклонами.

– Князь был? – спросил он.

– Были-с.

– Что заказал?

– Корзину с белыми розами.

– Ну так приготовь мне букет из камелий: пятнадцать красных и десять белых, и пошли в магазин за розовой лентой. Да чтоб к восьми часам прислать все это в театр «Буфф». Вот! Получай!

Бакенбардист вынул требуемую сумму на стол, и в том числе меня.

– Ох, деньги, деньги! – вздохнул он. – Не пришли мне сегодня управляющий двух тысяч из имения, так наша чародейка осталась бы без букета. Целую неделю без денег сидел.

– Мы вашей милости и в долг поверили бы.

– Ну уж этого я не люблю. Так пришли же!

Я очутилась в выручке цветочного магазина и пролежала там до вечера, но часов около десяти меня схватила чья-то рука, скомкала и в сообществе трехрублевой бумажки опустила за голенище сапога. Рука эта принадлежала приказчику цветочного магазина, и сапожное голенище было его же.

Через четверть часа мы были в трактире и играли на бильярде. Приказчик играл с каким-то усачом, у которого был подбит левый глаз. Игра шла по рублю партия. Усач выиграл. Приказчик полез за голенище, вытащил меня оттуда и отдал усачу. Я очутилась в кармане, в котором гремели два пятак, трешник и гривенник, которые меня значительно-таки потеряли. Я попробовала было заплакать, но трешник захохотал во все горло.

– Ишь, дура! – сказал он. – Молодо – зелено! Поживи-ка на свете, так и не так еще бока-то вытрут.

Игра продолжалась. Через пять минут у меня уже явилась компаньонка, такая же, как и я, рублевая, но уже значительно потертая. Через несколько времени нашего полка прибыло. К нам заглянула зелененькая, потом другая и наконец пятирублевка.

– Идет десять рублей партия? – крикнул приказчик.

– Только, господа, кладите деньги в лузу. Это уж такое правило, – сказал маркер.

Подбитый глаз вытащил синенькую, зелененькую да две нас, «канареечные», и кинул в лузу. Приказчик туда же опустил красную портретную, и игра продолжалась. Усач с подбитым глазом опять выиграл. Приказчик выругался и удвоил куш. К нам в лузу пришли еще две красенькие.

Через два часа я очутилась снова в кармане подбитого глаза. Тут были все мои товарки по лузе и сверх того приказчицкие часы с цепочкой.

Уходя из трактира и спускаясь с лестницы, подбитый глаз вынул пачку денег из кармана, отыскал в ней меня и поцеловал.

– Голубушка, первенькая! – проговорил он. – Спасительница моя! Я играл на ура с двадцатью тремя копейками в кармане. Не выиграй я тебя, так, может быть, подбили бы мне и второй глаз.

Мы шли по улице.

– Милостивый государь, извините, что я вас беспокою... Одолжите мне сколько-нибудь на хлеб, – послышался робкий женский голос.

Подбитый глаз остановился.

– Эдакая хорошенькая, молоденькая и на хлеб просите? – проговорил он. – Пойдемте, душенька, ко мне на квартиру картинки посмотреть, так дам и не на хлеб, а и на котлетку, на кофеек, да что тут! И на мороженое останется...

– Милостивый государь!..

– Ха-ха-ха! Какая нежности при нашей бедности! Туда же в амбицию! Впрочем, wollen Sie¹, так wollen Sie, а не wollen Sie, так как хотите.

¹ Хотите (нем.).

Подбитый глаз зашагал. Через пять минут за ним послышались шаги, и тот же робкий голос сказал:

– Господин, вы правы! Я решилась. Возьмите меня!

– То-то, давно бы так.

* * *

И я очутилась в женском кармане. Помню только одно: что в эту ночь я лежала на простом некрашеном столе в бедной каморке на чердаке. Надо мной сидела худая, бледная, но миловидная женщина и плакала. Слезы капали на меня, и это были первые женские слезы, которыми окропили меня. На убогой постели плакал грудной ребенок, а за стеной чей-то пьяный голос то ругался, то пел «Настасью».

Наутро я была отдана мелочному лавочнику за булку, сахар, хлеб и ветчину. Я очутилась в грязной выручке, в жестяной коробке из-под сардинок, и была притиснута обломком лошадиной подковы. Это, как я узнала впоследствии, было сделано для счастья в торговле.

– Финогеныч, есть у тебя клюквенная пастила? – раздался женский голос.

– Самая что ни на есть лучшая! – отвечал лавочник.

– Отпусти ты ей, мерзавке, на полтину! И как только ее не разорвет, окаянную! Ведь вот теперь у нас всего второй час, а уж она успела съесть фунт кедровых орехов, медовую коврижку, сахарное яйцо, что с ней сам на Пасхе христосовался, винных ягод десятка два, а теперь клюквенной пастилы захотела.

– Известно, тело купеческое, подкрепления требует. Пожалуйте, аккурат на полтину.

В выручку на мое место влетела зелененькая, а я, в сообществе другой канареечной, четырех медяков и двух пятиалтынных, которые лавочник завернул в нас же, как в простую газетную бумагу, была вручена кухарке.

Это было первое унижение, которое мне пришлось вынести. Вдруг я, рублевая, и служила оберткой!

Я лежала на столе перед толстой белой и румяной купчихой, одетой в широчайшую ситцевую блузу. Купчиха пожирала пастилу. Пожрав всю без остатка, она встала с места, перешла к другому столу, достала из него листик розовой бумаги, на уголке которого был изображен полногрудый купидон с луком и пронзенное стрелой сердце, и принялась писать следующее: «Милый друг Евгеша о как я плачу без цитирования твоих прекрасных усов. Лндел мой неушто ты сердит что я тебе из опаски ни покланилась когда проежала рысака с мужем. Ты знаешь, он хуже тигры лютой и мок убить меня за это, а я тебя абажаю до слез и посылаю тебе десять рублей на табак и есче цидулку от любви моей. Ах коварный оболъстителъ и я даже когда с мужем то и то о твоих усах думаю, а ты все по клубам да с мамзелями в танцах а я страдаю в сердце как на иголках и со мной может беда какаая случится коли ты не прибижиш на крыльях любви к Марье Ивановне где тебя будут жтать друк твой до смерти и без ума Даша. Лети в семь часов буду, а ни придешь умру от любви».

Я в сообществе с тремя трехрублевками была запечатана в это письмо и попала к рослому брюнету в мундире чиновника военного министерства. Он был насквозь пропитан табаком и играл на гитаре. Прочитав письмо, он улыбнулся и сказал:

– Вишь, каналья, всего только десять рублей прислала, ну да ничего, лично выудим и четвертнюю! Эй, Марфа! Я у тебя занимал рубль целковый, так вот тебе, а также и пятиалтынный процентов.

И я была отдана кухарке.

Кухарка недолго меня держала у себя и при следующем письме переслала к рядовому пожарной команды, Прохору Никифорову: «Дражащий сердца моего Прохор Кузьмич, посылаю вам нижайший поклон от неба и до земли и посылаю при сем рубль денег на битый чайник

твоего начальства, а также и на кожу, ибо ты пишешь, что она у тебя вся вышла, и скажу тебе все-таки ты неверный, а взамен сего приходи завтра вечером ко мне в парк, и я тебе вынесу кусок пирога и старые калоши. Они годятся еще для передов, а также и нагрудник принесу ситцевый, только приходи, а письмо сие писал по безграмотству Домны Савельевой мелочной лавочник Увар Никитин и руку приложил».

Ах, я попала к пожарному и лежала в кисете с махоркой, где приобрела первый несвойственный мне запах.

В кисете этом, однако, мне пришлось лежать недолго. Пожарный Никифоров отправился в рынок покупать кожевенный товар, но по дороге встретил татарина, который нес старые голенища, остановился, начал к ним прицениваться, нюхал их, вытягивал, даже лизал и наконец купил за тридцать пять копеек, и из ситцевого табачного кисета пожарного попала я в денежную кошелек татарина.

Весь следующий день ходили мы по дворам и кричали: «Халаты бухарски! Халаты!» Мальчишки на дворе показывали нам свернутые полы чуек и кафтанов, изображая ими свиные уши. Татарин ругался, как водится. Долго он бродил по дворам, и никто не обращал на него внимания, никто не зазывал его, как вдруг на одном дворе отворилась форточка, из форточки выставилась довольно благообразная голова, как я узнала впоследствии, принадлежащая одному знаменитому «водевилятнику», и крикнула:

– Эй, халаты! Иди сюда! Кажи какие попроще.

Мы поднялись по лестнице и вошли в комнаты. Татарин развязал узел и начал показывать халаты.

– Самый лучший бухарский тармалама! – говорил он.

– Ну, уж это ты не ври, не выдавай московскую-то материю за бухарскую. Это только мы переделанные с немецкой пьесы выдаем за оригинальные, так ведь то мы не тебе, мухоеду, чета, – отвечал водевилятник.

– Помилуй, бачка, халат самый ханский! Генерал без обиды носить будет!

– Ври больше! – И водевилятник принялся торговаться, торговался, как жид на ярмарке, и наконец купил у татарина халат, дав ему свой старый халат, рубль сорок две копейки денег, одну калошу, несколько военных пуговиц, изношенную донельзя жилетку и кусок сахара.

На данную им татарину трехрублевую бумажку татарин сдал ему рубль пятьдесят восемь копеек сдачи, и в этой сдаче попала и я.

Я была скомкана, один уголок у меня был оторван, но водевилятник, облекшись в новый халат, тотчас же расправил меня. Он нагрел на свечке утюг и принялся меня гладить этим утюгом, после чего завернул в бумагу в сообществе с портретными бумажками и запер в письменный стол. У него я лежала долго, долго... Несколько раз вынимал он меня и шел со мной в трактир обедать, но, дойдя до дверей трактира, останавливался, размышлял и шел в гости.

Я продолжала лежать в темном столе водевилятника в сообществе разноцветных бумажек, которые объявили мне, что они променяны на талоны театральной конторы, выдаваемые за представления пьес. Здесь же успела я познакомиться с некоторыми драматическими произведениями моего хозяина, которые он переделал с французского и немецкого и сбирался выдать за оригинальные.

– Веришь ли, девушка, – говорила мне рукопись на синеватой бумаге, – до того иногда бывает стыдно носить не принадлежащее мне имя, что даже я, синеватая бумага, и то краснею, а ему ничего, как с гуся вода. Эх, некому его обуздать-то, а следовало бы.

Долго ли лежала я у водевилятника, не знаю, даже в днях спуталась, но однажды я вдруг слышала его голос. Он ругался.

– И за что платить-то, я не знаю! Это черт знает что такое! Во-первых, у тебя рубашки желты, ты на них даже синьки жалеешь, а во-вторых, у белья – где пуговица не пришита, где тесемка оборвана. На вот целковый, а тридцать семь копеек за мной останутся.

Водевилятник открыл стол, схватил меня из ящика двумя пальцами и, глубоко вздохнув, отдал прачке, пожилой женщине с опухшими и растрескавшимися от стирки руками. Она свернула меня в восьмую долю и завязала в угол головного ситцевого платка до того крепко, что я даже вскрикнула. Мне пришлось лежать рядом с новеньким двугривенным. Двугривенный все хвастался передо мной своим металлическим блеском, выпуклой цифрой 20 на лбу. Я молчала и только и думала, как бы мне избавиться от этого соседства.

Прачка между тем сходила с лестницы и шептала:

– Синьки надо будет купить на гривенник, фунт кофею – тридцать две копейки, палку цикорию да полфунта сахару.

Я встрепенулась от радости. Непременно меня отдаст за кофий, мелькнуло у меня в голове, и я не ошиблась.

Пройдя по тротуару несколько домов, прачка остановилась у мелочной лавочки и начала развязывать угол головного платка, вынимая меня оттуда. Был вечер. Погода стояла ветреная. Стреляли из пушек, уведомляя жителей подвалов, что скоро их жилища зальет водой.

Вдруг из платка прачки вывалился двугривенный, со звоном упал на тротуар и крикнул:

– Знай наших! Кто может заметить, что наш тятенька мужик был!

Прачка взяла меня, рублевую бумажку, в зубы и начала поднимать двугривенный; но он как-то не давался в ее опухшие пальцы.

– Ах ты, подлый! Нет, стой! – выговорила она и при этом, естественно, раскрыла рот, как вдруг в это время порыв ветра подхватил меня и отнес на несколько шагов.

Прачка бросилась за мной, но ветер понес меня далее.

– Батюшки, голубчики! Поищите! Рубль потеряла! – доносились до меня ее плаксивые возгласы, а ветер между тем все мчал меня далее и далее, и вскоре примчал к подножию мокрого фонарного столба, к которому я и прилипла.

У фонаря стоял извозчик и спал, уткнувшись носом в линейку. Из подъезда вышли мужчина в бакенбардах и в фуражке с кокардой и женщина в салопе и в белой вязаной шерстяной косынке.

– Ну что, много ли дал? – спросила женщина.

– За мои часы восемь рублей, а за твою браслетку одиннадцать. Проценты за месяц вперед вычел.

– Ну, куда ж теперь, в благородный или в приказчий?

– Что в приказчий! Там восточные человеки заодно играют и ни одной тебе мушки взять не дадут, а в благородном я Ивану Иванычу восемь с половиной должен. Едем лучше в немецкий: ты по двугривенному сядешь, а я рискну по полтине.

– А ты для счастья куриную ногу положил в карман?

– Положил. Едем! Извозчик, в Немецкий клуб! – проговорил мужчина и, взглянув на тротуар, вдруг вскрикнул: – Батюшки! Находка! Вот счастье-то!

Я была поднята, отерта носовым платком и спрятана в карман.

– Знаешь, это хорошее предзнаменование, – говорила женщина. – А для большего счастья, ты, Петя, оторви у бумажки левый уголок и съешь его. Это очень помогает.

– Непременно, – отвечает мужчина. – Знаешь что, Лизавета Ивановна, ежели я сегодня только выиграю, то вставлю эту рублевую бумажку в рамку, за стекло, и повешу на стену.

Мы приехали в Немецкий клуб и вошли в игорный притон. Глазам моим представились желтые, перекошенные лица дам, всклокоченные головы мужчин с покрасневшими потными лицами. В стороне, у окна, какая-то дама в растрепанном шиньоне закладывала франтоватому ростовщику два кольца, из коих одно обручальное, прося за них четыре рубля на отыгрыш. Я все это видела своими глазами, ибо владелец мой держал меня в руке, отыскивая удобное местечко, где бы можно незаметным образом откусить у меня левый уголок и проглотить его.

Вскоре он откусил у меня угол и, проговорив: «Фу, какая мерзость», начал жевать, но проглотить не мог. Действительно, я не могла быть вкусна, ибо, валяясь по тротуару, я натыкалась на очень неприятные соседства, от которых и приняла вкус и запах. Кой-как, однако, мой новый владелец проглотил мой уголок как пилюлю, с помощью рюмки водки.

– В пятьдесят копеек место свободное! – крикнул карточник.

Мужчина, поперхнувшись водкой, бросился к столу, и мы начали играть. Я лежала на столе. Первая мушка была взята моим владельцем, и на меня легла значительная пачка денег.

Вторую мушку мы проиграли, а третью опять взяли, четвертую тоже, пятую тоже, шестую тоже.

– Это черт знает какое счастье! – говорили дамы, зеленея от злости и затягиваясь папиросой, а одна из дам вошла в такой азарт, что, желая сосчитать свой проигрыш, схватила своего соседа за палец, приняв его за кусок мелу. Другой же мужчина до того потерялся и обалдел от проигрыша, что, когда у него зачесалась коленка, начал чесать коленку сидящего рядом с ним партнера, думая, что это его собственная коленка.

Седьмую мушку владелец мой проиграл и встал из-за стола.

– Ну что, Петя? – спросила его подошедшая к нему жена.

– Ура! Триста пятнадцать рублей чистогану! – прошептал он и от радости даже выставил язык. – А все рублевая голубушка, милая канареечка!

Мне приятно было слышать такие ласковые слова, хотя в выигрыше я не была повинна ни душой, ни телом.

Наутро я уже висела на стене в бронзовой рамке, в той рамке, в которой до сего времени был вставлен портрет начальника моего владельца. Портрет, разумеется, был вынут и валялся на письменном столе.

В рамке мне, однако, пришлось сидеть недолго. В один прекрасный вечер или, лучше, в одну прекрасную ночь хозяин мой вернулся домой полупьяный и с всклоченной головой.

– Ну что? – спросила его лежащая уже на постели жена.

– Яко благ, яко наг, яко нет ничего! – проговорил он, свистнул и выворотил пустые брючные карманы.

Жена заплакала.

– Как же мы завтра жить-то будем? Дров нет, в мелочной лавке не верят. Ведь ты сегодня последнее проиграл, даже и заложить-то нечего!

– А вон, возьми из рамки рублевую! Черта ли ее беречь-то! Всего только и сумела выиграть триста пятнадцать целковых, которые я в два следующие же дня и проухал! – отвечал мой хозяин, не раздеваясь повалился на кровать и захрапел.

Наутро я была вынута из рамки и отдана мелочному лавочнику за жизненные припасы, а мелочным лавочником запрятана в самодельный бумажник из синей сахарной бумаги и в числе прочих бумажек отнесена в уплату за мучной товар в лабаз купца Овсянникова. Сначала, разумеется, попала я в выручку, потом в карман приказчика, который в бытность свою в трактире вымочил меня для чего-то в хересе и играл на меня с приятелями в чет и нечет, потом в пьяном образе пожег на огне, отпалил у меня третий угол и наконец сдал в кассу, после чего я очутилась в железном кованом сундуке. Здесь уже разные сотенные и пятидесятирублевые бумажки не обращали на меня никакого внимания, только рассказывали друг другу свои похождения по карманам концессионеров, биржевых жидов и модных адвокатов, защищавших на суде ростовщиков, занимающихся ловлею модных пижонов, подделывателей фальшивых духовных завещаний и пр. А одна новенькая сотенная бумажка рассказывала случай, как она, в сообществе девятнадцати других сотенных, была переплетена в альбомный переплет из перламутра и черепахи и поднесена в подарок какой-то желтогривой Сюзете.

– Ну, это ты врешь! – пробасил пятипроцентный билет с выигрышами. – Я вот покрупнее тебя числом, да ни разу не был в таком почете. Раз, правда, один подрядчик поднес меня на

зубок одному новорожденному генеральскому сыну, засунув украдкой за свивальник, но чтоб переплестать в перламутровые переплеты...

– Ан не вру! – взвизгнула сотенная. – Коли попадешь когда к биржевому жиду Шельменталю, так спроси у него. Он и подносил.

– Врешь! – крикнул басом пятипроцентный билет, закашлялся и плюнул, по ошибке приняв меня за плевальницу.

Спор, наверное бы, дошел до драки, но в это время кто-то сунул в замок ключ, раздался звон пружины, и тяжелая дверь несгораемого железного сундука отворилась, и глазам нашим представилась величественная фигура потомственного почетного гражданина, первой гильдии купца, коммерции советника, директора инвалидного дома его собственного имени и кавалера Степана Тарасовича Овсянникова. Он был однако не в мундире и без орденов, а в халате. Его рыжая с проседью борода лоснилась и благоухала. В то время он не был еще так известен и популярен как теперь, но уж предвидел свою популярность и строил перед Рождественским частным домом роскошный сквер. Конечно, он немного ошибся частью, ибо, выстроив сквер перед одной, попал в другую, но это нейдет к делу. Во всяком случае, он был величествен. Он запустил в сундук свою руку и начал обшаривать нас. Про его сундук ходила молва, что он был так устроен, что ежели вор засовывал в него руку, чтобы воспользоваться деньгами, то из сундука тотчас же выскакивали ножи и, прежде чем дерзкий успевал опомниться, отрезывали ему руку. Почтенный Степан Тарасович, однако, был осторожен, знал секрет, как нужно запускать руку, а потому руку ему не отхватило. Он отобрал нас несколько штук и положил к себе в бумажник, а сундук запер.

И вот я очутилась в роскошном сафьянном бумажнике знаменитого миллионера Овсянникова. Клянусь честью, у меня тогда даже в зобу дыхание сперло, когда я прогуливалась с ним по позлащенным хоромам его дома. Было утро. Его чады и домочадцы только подымались от сна и, подходя к нему, целовали его пухлую руку.

– Крючники за расчетом с пристани пришли, Степан Тарасьевич! – доложил приказчик.

– На это есть контора, там я сделал расчет и велел выдать деньги.

– В том-то и дело, что они вашим расчетом недовольны и пришли поговорить с вами самолично.

– Гони вон!

– Нейдут-с и даже бунтуют, стращают к мировому идти с жалобой.

Степан Тарасьевич принял олимпийский вид и вышел к крючникам.

– Вы чего тут бунтуетесь?! – крикнул он им.

– Степан Тарасьевич, отец родной, рассчитай ты нас путем, не оставляй в обиде!

– Вот вам на всех, и больше не дам ни копейки! Вон из моего дома!

Он полез в бумажник, вынул оттуда несколько мелких бумажек, в том числе и меня, и бросил мужикам.

Мужики подняли деньги и пошли в трактир делиться. Здесь, в трактире, я досталась крючнику Пантелею, рослому и мощному Голиафу, для которого поднять на спину куль овса, развернуть подкову или даже перекреститься двухпудовой гирей ничего не значило. Пантелей ехал на побывку в деревню и отправился на рынок закупать дары для жены и родственников, а для того, чтобы купцы не надули его товаром, пригласил с собой в компанию двух товарищей.

Мы отправились в рынок. Я лежала в кожаной мошне Пантелея и была спрятана за пазухой рубахи. Помню одно, что по соседству со мной лежала пятирублевка и то и дело хвасталась, что она гостила в бумажнике у адвоката Павла Потехина.

Началась покупка ситцу. Купец раскидывал перед крючниками и лютческие ситцы, и ермаковские, и губнеровские, и битепажевские. Мужики просили резать образчики от ситцу и жевали их, пробуя, не слиняет ли с них краска.

– Нам бы травками али вавилоном манер какой, а то дорожкой али февероком, – говорил Пантелей и переминался с ноги на ногу.

– Фейерверком! – передразнил его купец. – Сами не знаете, чего хотите! Вон берите манер! Уж ежели это не манер, так зарылись вы, ребята! Да любую бабу в этом ситце бык забодает, и корова жевать начнет.

Но и эти доводы не привели ни к чему. Мужики по-прежнему не решались, что им взять; хозяин прибег к последнему торговому фортелю и принялся ругать мужиков.

– Черти вы этакие сиволапые! Видно, на грош пятаков искать пришли! С собой ли деньги-то? Жуют, жуют, а толку никакого, только товар перерыли. Торгуйтесь по-божески, да и покупайте, а то вот как хвачу куском-то!

– Ну что ты! Ты не очень... Мы купим, – заговорили мужики и действительно купили.

Брань купца подействовала, до того подействовала, что он даже успел вернуть им самый линючий ситец, и в обмен за этот ситец я попала в выручку купца.

Купец был мрачен вследствие плохой торговли и, как я узнала впоследствии, собирался банкротиться, предлагая кредиторам по пятиалтынному за рубль. Лавка, для пушей безопасности и неприкосновенности, давно уже была переведена на тещу, а домашняя подвижность – на жену.

– Коли к Троице успеем очистить свою совесть, то самое любезное дело будет, – говорил хозяин, обращаясь к своему старшему приказчику. – Барыш хороший будет, так тебе пятак с рубля!

– Это точно, Трифон Силиверстыч, тогда и к угодникам на слободе съездить можете. Начинайте-ко с Богом с завтрашнего дня: возьмите крестик, да и ступайте по кредиторам.

Сказано – сделано. Всю ночь купец вздыхал, как локомотив, и ворочался с боку на бок. Я это явственно слышала у него в бумажнике, который помещался под подушкой. Наутро он надел старенький сюртучишко, потер швы его мелом, дабы он казался еще «жалостливее», и отправился по кредиторам. По дороге он зашел в часовню и поставил рублевую свечу.

Я очутилась в свечной выручке, среди трешников, грошей и серебряной мелочи. Тут был и пятак сирой вдовицы, гривенник ростовщика и семитка рабочего, пришедшего в Питер на барке.

О, гордость, о, мать пороков! Каюсь: как скромна и принижена была я в шкафу богача Овсянникова, так, наоборот, возгордилась я здесь перед пропахшими всеми возможными запахами медяками. Я надменно подымала голову и презрительно скашивала на них свои нумера. Медяки и обтертая серебряная мелочь лежали в куче и вздыхали. Но мне недолго пришлось поважничать. Скоро нас принялись считать, отделяя серебро от меди, как овец от козлищ, и кладя их в отдельные мешки. Меня, в сообществе других мелких бумажек, завернули в поминанье и отдали фабриканту и торговцу восковых свечей купцу Мачихину. Вес мой значительно увеличился, ибо я в нескольких местах была закапана воском.

С Мачихиным я несколько раз играла в стукалку, причем он оторвал у меня для счастья (конечно, не для моего) и последний четвертый угол, вследствие чего я сделалась совсем карнаухая. С ним я была в трактире, в Александринском театре, и через день я была отдана дворнику за воду.

Дворник расправил меня, соскоблил восковые пятна, причем совсем стер печатные слова «серебряною или золотою монетою», и вместе с несколькими другими бумажками зашил в тулью своей шапки.

В шапке я лежала довольно долго и ходила с дворником и в трактир, и в кабаки; со мной неразлучно возил он и пьяных в участок, носил дрова и воду, получал с жильцов деньги за квартиры и все собирался ехать в деревню к жене на побывку. Раз, в бытность свою в трактире, он начал торговать у маркера золотые часы, которые маркер выиграл у какого-то гостя. Маркер просил за них тридцать целковых, дворник давал пятнадцать.

– Ах ты, выжига! За этикие часы да пятнадцать целковых! Сиволдай! Есть ли еще пятнадцать-то целковых! Поди и с полушубком-то вместе всего имущества на синенькую не наберется.

Дворник был выпивши.

– Что? – заревел он. – А хочешь парей на полдюжины баварского и на две селянки, что я вот ежели эту шапку распотрошу, то из нее может двадцать пять синеньких посыплется? Да мы о Пасхе одних праздничных по красенькой на брата собирали. Ах ты, шаропех эдакой!

– Идет на полдюжины! Ладно! Потроши шапку! – горячился маркер.

Другие дворники начали останавливать маркера.

– Полно, спорь до слез, а об заклад не бейся! – говорили они. – Оставь, проспоришь, действительно у него в шапке много денег зашито!

Маркер умолк. Сидевшие в биллиардной две какие-то личности многозначительно переглянулись между собой.

Прошло несколько дней. Я спокойно продолжала лежать в шапке дворника и пролежала бы там долго, узрев свет только в деревне, ежели бы у дворников не случился храмовой праздник по деревне и они не начали «справлять престол», купив предварительно полведра водки и несколько фунтов ветчины. Хозяин мой в этот день был пьян и в то же время – дежурный по караулу. Как ни трудно было ему, но в 11 часов вечера он надел тулуп, валенки и лег на скамейку караулить ворота. Через минуту он захрапел крепким и непробудным сном.

Ворота он, правда, укараулил, но шапку с защитыми в ней бумажками, в том числе и со мной, проспал. Ее без особенного труда стащили с него те темные личности, которые присутствовали в трактире при его споре с маркером.

Сорвав шапку, мазурики забежали на двор какого-то вновь строящегося дома, распотрошили ее, вынули оттуда деньги и наскоро начали делить их между собою. Синенькие и зелененькие бумажки были поделены поровну, но я, рублевая, осталась одна.

– Это мне следует; я первый с дворника шапку стащил, – говорил красно-сизый нос.

– Нет, мне, потому что я нес ее всю дорогу, – возражал подбитый глаз.

– Мне!

– Нет, мне!

– Ах ты, голь кабацкая!

– Ах ты, подзаборный житель!

Мазурики разодрались. Один схватил меня за одну сторону, другой – за другую, и каждый рвал к себе.

Вдруг в отдалении раздался свисток городского, и они разбежались.

Я осталась в руках подбитого глаза, но, увы, я уже не имела никакой ценности. Левый номер и душа с подписями управляющего и кассира были вырваны. Они были или потеряны, или находились у красно-сизого носа. Подбитый глаз всячески старался меня сбыть в кабаке, в трактире, бабам, торгующим на Сенной вареным картофелем и печенкой, но меня никто не брал. Он вставил меня в рамку из газетной бумаги, но и это не помогло: тогда он взял меня и опустил на улице в кружку нищенского комитета.

Оттуда я попала в государственный банк, и вот теперь осуждена на публичное всесожжение. Страшно! Страшно!

IV. Похождения шампанской бутылки

Увы! Теперь я пуста и бессодержательна, как театральные отметки рецензента, но когда-то была полна искрометным шампанским и имела на груди своей ярлык известной фирмы «Редерера»! Теперь я в виде черепков валяюсь в яме в сообществе апельсиновых корок, яичной скорлупы, стоптанного башмака, отрепанной метлы и прочей дряни, но когда-то стояла на столе в серебряной вазе, наполненной льдом. Голова моя была высмолена по последней моде, и я гордо посматривала на бутылки с ярлыками хереса, портвейна и лафита. О, какой поучительный урок для гордости! Я убита, уничтожена и как милости жду того момента, когда мальчишка-тряпичник поднимет мои черепки, опустит их в свой грязный мешок и отнесет на стеклянный завод для возрождения меня к новой жизни.

Как я родилась на свет, я не помню, да вряд ли кто-либо и может сам помнить подробности дня своего рождения. Детство мое тоже изгладилось у меня из памяти. Когда я начала себя понимать, я лежала уже в погребке одного известного французского ресторана, завернутая в синюю бумагу и упакованная в ящик, наполненный соломой. В один прекрасный вечер меня вынули из ящика, сняли проволоку с пробки и поставили в серебряную вазу. Я очутилась на залитом вином столе, среди недопитых бутылок, зажженных канделябров и тарелок с объедками. За столом сидели два полупьяных статских, желтогривая полудевица и пожилой военный. Один из статских, очень юный фертик, у которого на лбу невидимыми буквами было написано: «Купеческий саврас», развалился на диване и вдруг захохотал во все горло:

– Нет, господа, вспомнить не могу без смеха об этом выверте, да и шабаш! Вдруг за буйство в публичном месте он приговаривает меня к двадцати пяти рублям штрафа, а в случае несостоятельности к содержанию при полиции на семь дней! Ха-ха-ха! Вот чудак-то! Я думал, что он меня прямо на неделю в тюрьму! Всем святым свечи ставил, молебны служил о смягчении судейского сердца, и вдруг двадцать пять рублей штрафа! Что это для меня?.. Тьфу, и больше ничего. Да после этого я каждую неделю буду этим буйством забавляться! Все мировые участки обойду. Michel, переведи все это Сюзете по-французски, – обратился он к военному.

Тот перевел.

– Animal! Imbecile!² – скорчила гримасу француженка.

– Что она говорит? – спросил саврас.

– Хвалит тебя. Говорит, что так и следует.

– Ну, господа, ради такого счастливого случая, что я вышел сух из воды и вместо тюрьмы сижу в ресторане, засобачимте еще по бокальчику за мое здоровье, да едемте в «Самарканд» цыган слушать!

– Ну тебя! Не могу! И так уж восемь бутылок выпили. В горло нейдет!

– Pleine!³ – проговорила француженка и провела рукой по горлу.

– Ну, так я на голову вылью! Хочу, чтоб все пили!

– Эй, Петя! Не дури! – крикнул военный.

Начался крупный разговор. Дабы замаять его, француженка запела:

Mon pere est a Paris,
Ma mere est a Versaille!⁴

Саврас угомонился.

² Животное! Болван! (фр.)

³ Полна! (фр.)

⁴ Мой отец в Париже, Моя мать в Версале! (фр.)

– Коли так, – проговорил он, – я эту самую бутылку шампанского троечным лошадям стравлю! Эй, Каюм! Счет и лоханку! Едьте!

Услужливый татарин принес и то, и другое. Саврас расплатился за все, вынул меня из вазы, откупорил и велел вместе с лоханкой отнести на подъезд. На подъезде он вылил из меня шампанское в лохань и поднес троечным лошадям. Но те не пили и мотали головой. Саврас воспылал гневом.

– А коли так, так вот же вам! – проговорил он и вылил шампанское лошадям на головы.

На сцену эту смотрели стоявшие у подъезда извозчики и хохотали. Проходивший мимо старик в еноте остановился и, узнав, в чем дело, помотал головой и сказал:

– Э-эх! Видно, некому и постегать-то тебя, окаянного!

Я была отнесена в ресторан и в числе прочих бутылок поставлена в кладовую. О, как мне было горько и обидно, что содержимое мое было так безобразно и бесполезно потрачено. Я стояла угрюмая, надутая и чуть не плакала. Бутылки из-под портеру и мадеры приставали ко мне с вопросами, но я упорно молчала. Все находящиеся в кладовой бутылки вознегодовали на это и называли меня дрянью, гордячкой.

– Чего важничаете-то! – крикнула из угла толстая бутылка из-под московского ланинского шампанского. – Туда же нос подымает, будто ее вельможи выпили. Не скроешься, матушка, видела я с окошка, как кровь-то твою на голову извозничьим лошадям выливали. Нечего сказать, есть чем похвастать! А ты вот доживи-ка, до чего я сегодня дожила, да потом и фордыбачь. Меня сегодня татары один раз подали за настоящую Клико, и я была пречудесным образом выпита «саврасом» и его прихлебателями, а другой раз так пустую для счету поставили, а деньги взяли как за полную.

– Bravo! Bravo! – зазвенели разнородные бутылки, а черная приземистая бутылка из-под портеру улыбнулась во всю ширину своего ярлыка с подписью «A. Le Coq» и сказала:

– Откровенно сказать, ведь и я была наполнена портером-то не в Англии, а на пивоваренном заводе А. Крона в Петербурге, но, невзирая на это, два гусара преспокойно выпили мое содержимое за английский портер, да еще похваливали.

Наутро я была обменена в погребу братьев Елисеевых на вино; меня прополоскали, оскоблили с горла смолу и налили коньяком. С наклепленным ярлыком и с запечатанной пробкой я очутилась на полке роскошного магазина.

Много входило в магазин покупателей, но я как-то не обращала на них внимания, до тех пор, пока не вошел статный Марс. Гремя шпорами, он ходил по магазину и говорил:

– Во-первых, четыре десятка устриц; во-вторых, фунт честеру; в-третьих, две бутылки белоголовки Гейцикера, четыре полубутылки портеру, а самое главное – бутылку коньяку в два рубля. Да поскорей уложите все это и отнесите в коляску.

– Слушаем-с. Будьте покойны! Сейчас! – отвечал приказчик, засуетился и первым делом схватил меня.

Через час я была в квартире Марса, а вечером стояла на столе рядом с устрицами, шампанским, апельсинами, ананасом и огромным куском холодного ростбифа. За столом помещались Марс, двое его сподвижников, статский с лимонно-желтым лицом, с вставною челюстью и с *rinsepnez*⁵ на носу и плотный иерусалимский дворянин с черными плетоядными глазами и массивной золотой цепью на брюхе, усеянной кучей брелоков. Разговор шел о лошадях, о балете, о новоприезжей француженке, о новой шансонетке Жюдик. Во время разговора иерусалимского дворянина Марс называл почтенным Самуилом Соломоновичем. Почтенный Самуил Соломонович скалил зубы, что означало, должно быть, улыбку.

– Да, почтенный Самуил Соломонович, ежели я не держу своих лошадей, а беру их у извозчика, так это именно от кучеров. Вы не поверите, что за мерзавец стал нынче этот народ.

⁵ Пенсне (англ.).

За грош тебя продаст и всякую лошадь испортит! А я люблю лошадей, и очень люблю! Прошлый год я потерял на лошадях три тысячи, плюнул и решил больше не держать. Конечно, я имею средства, но ведь тут никаких денег не хватает!

– Да, русский мужик вор, каналья! – отвечал иерусалимский дворянин и оскалил зубы.

– Это вот вам, Самуил Соломонович, так можно держать, – поддержал разговор лимонно-желтый статский, – потому вы, ежели и тридцать тысяч в год на лошадях потеряете, то и это вам нипочем!

– Ох! – вздохнул иерусалимский дворянин и опять оскалил зубы.

– Да, Самуил Соломонович, к вашим деньгам мы вот хотим и новоприезжую француженку подсватать. Глаза – восторг! А талия, ох, боже мой! Хотите я вас с ней познакомлю? Видите, я не ревнив. Впрочем, pardon⁶, потому только, что со дня на день жду денег от моего управляющего. Хотите? Хотите? О, она сейчас вскружит вам голову.

Вскоре ужин кончился. Гости-офицеры простились и поехали в маскарад. Иерусалимский дворянин взялся было за шляпу, но хозяин его не пустил.

– Ни за что, ни за что не пущу вас! Мы еще жженку варить будем. Знаете, по-холостому. Вы, я думаю, уже отвыкли от этого, но все равно, вспомните прежние юные годы.

Для жженки остался и желто-лимонный статский.

Вскоре я была вылита в кастрюлю с сахаром, апельсинами и ананасом, и запылал синий огонек.

– Да, все нынче хорошо, и я вполне доволен сегодняшним днем, в который вы меня ошастливили своим посещением, но ужасно злюсь на своего управляющего: не высылает мне денег, да и только! – говорил Марс за жженкой и слегка похлопывал иерусалимского дворянина по коленке. – А что, почтеннейший Самуил Соломоныч, не можете ли вы мне дать под вексель три тысячи рублей, хоть так – на два, на три месяца. Разумеется, возьмите за это хорошие проценты. Я вполне понимаю, что торговый человек даже из принципа должен во всем соблюдать свою выгоду.

Выговорив эту тираду, Марс глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Иерусалимский дворянин как-то съежился и наклонил голову.

– Ох, с деньгами совсем беда! Все отданы, все! – прошамкал он и на сей раз уже не оскалил зубов.

– Но я вам могу представить верного поручителя, – продолжал Марс, указывая на лимонного статского. – У Вольдемара четыре тысячи десятин земли в Архангельской губернии.

– Я сам бы занял теперь охотно такую сумму, – сказал иерусалимский дворянин и начал прощаться.

Хозяин проводил его очень холодно.

– Вот подлец-то! – воскликнул он по его уходе. – Пил, ел, слушал льстивые слова, а как дошло дело до денег, и отказал. Делать нечего, сорвалось! Пропало даром угощение.

– Послушай, нет ли у тебя трех рублей? Дай мне до послезавтра, – проговорил статский.

– Откуда мне взять их, mon cher?⁷ Все, что было, все проухал в утробу этого жида. Ведь думал, денег даст.

– Ну, дай хоть двугривенный на извозчика.

– Возьми, только это последний, и я сам останусь без гроша.

Статский взял и ушел, а хозяин допил с горя всю жженку и завалился спать.

Всю ночь храпел он так неистово, что мы, бутылки, даже дребезжали на столе, а наутро, лишь только проснулся, сейчас же крикнул:

– Эй, Ферापонт! Папиросу и огня!

⁶ Простите (*фр.*).

⁷ Мой дорогой (*фр.*).

- Ни одной нет. Вчерашний день все выкурили. Пожалуйте деньги, так в лавочку схожу.
- Возьми так.
- В долг не дают-с. Мы уж и так восемь рублей три месяца должны.
- Дурак!

Вдруг, в это самое время, на дворе послышался возглас: «Бутылки, банки продать!» Марс мгновенно вскочил с постели, сел на нее, ударил себя по лбу и крикнул:

– Ферапонт! Возьми сейчас все порожные бутылки, продай их бутылочнику, что кричит на дворе, а на эти деньги купи папирос.

И вот я попала в корзину скупщика бутылок и очутилась в среде самого разнообразного общества. Тут были мы, бутылки всех видов, от пивного до шампанского чина включительно, аптекарские стеклянки с ярлыками «внутреннее» и «наружное», банка из-под помады фабрики Мусатова, от которой так и несло гвоздикой, банка из-под ваксы фабрики Каликса, флакон из-под рисового молока, придающего лицу белизну и натуральную юношескую свежесть, и маленькая баночка, в которой некогда была заключена краска, превращающая мгновенно седые волосы в какой угодно цвет. Тут важничала и хвастала и бутылка из-под мальц-экстрактного пива Гоффа. Говор и крик были такие, как в торговой трехкопеечной бане.

Я, шампанская бутылка, не вмешивалась в разговор: я была горда и молчала.

Вскоре бутылочник продал меня в квасное и кислощeyное заведение, и я, в сообществе разных бутылок, была поставлена в углу. От моих товарок несло и водкой, и киросином, и скипидаром, и муравьиным спиртом. По их усталым, изнеможенным лицам я видела, что им довольно-таки пришлось постранствовать. Им было не до разговоров, и они мрачно молчали.

Так простояла я дней пять и в это время занималась тем, что изучала природу. На горло мое села крупная, сочная муха; прошла два раза вокруг, потеряла передние лапки, потом задние, поскоблила брюшко, примазала слегка пух на голове, заглянула в нутро горла, но, обданный коньячным запахом (я еще не успела выдохнуться от коньяку), одурела слегка и ввалилась в меня. На дне у меня было еще несколько хмельной жидкости. Бедная муха замочила свои крылья и, увы, не могла лететь, а смертоносный хмель начал делать свое дело. О, как хотелось спасти мне эту муху, но я была бессильна! Через десять минут ее не стало.

Вечером подобрался к моему горлу таракан-прусак; заглянул в меня, пошевелил усам и тоже упал на дно. Через четверть часа он также скончался, как и муха; но я не жалела его. Наутро, в стенах своих я увидела, кроме мухи и прусака, две моли. Бедняжки, должно быть влюбленные, лежали обнявшись. К двенадцати часам дня на меня спустился паук, этот ростовщик насекомых.

– А что, нельзя ли будет кому-нибудь дать здесь денег под залог и за хорошие проценты? – проговорил он, понюхал горло мое и, услышав хмельный смертоносный запах, начал осторожно подниматься на своей паутине обратно на потолок.

В комнату вошли два мужика в ситцевых рубахах и начали отбирать нас. Взяли и меня.

– Постой, Трифон, нужно бы их пополоскать прежде, – сказал мужик помоложе.

– Чего тут полоскать! И так чисты! Неси! – отвечал другой. – Начнешь полоскать, так еще разобьешь чего доброго, и хозяин на счет поставит.

Вскоре в меня был влит баварский квас; я была закупорена пробкой и обвязана веревкой, а через час стояла во льду, в темном чане, в мелочной лавочке.

О, сколько жизненных, игривых и пикантных сцен пришлось мне здесь видеть! Мелочная лавочка – ведь это клуб, биржа, университет, газета прислуги, и я с любовью отдалась в ней моим наблюдениям.

Наполненная игривым баварским квасом, я стояла в чане и сквозь щель, сделанную для воздуха, наблюдала, что делается в мелочной лавочке. Было раннее утро. Мелочной лавочник только что проснулся и, умывшись, молился Богу, осеняя себя крупным крестом. Помолвившись, он зачерпнул из кадки добрую горсть коровьего масла, намазал себе волосы, расчесал

и принялся пить чай. Подручные мальчишки стояли поодаль и тоже глотали из стаканов эту горячую влагу.

– Селиверст Семеныч, – отозвался один из мальчишек, – я давеча квас в бочке смотрел, так там, почитай, совсем на дне. Ужо рабочие ходить начнут, так что мы им будем давать? И на пол-утра не хватит.

– Эка важность! Возьми два-три ведра воды, плесни туда да всполоскай бочку, так вот тебе и квас!

Лавочник напился чаю, выровнял весы, зевнул во весь рот и перекрестил его. На одну доску весов он поставил гири, а на крюк, на котором висела другая доска, повесил железный ключ, «так, будто бы по забывчивости».

Вскоре начали входить покупатели. Кто спрашивал на копейку сухарей, кто пол сальной свечки, кто на две копейки сахару и «заварку» чая. Зашел пьяный повар, поел кислой капусты, выпил полковша огуречного рассолу и купил три гвоздя; забежала кухарка, упростила лавочника написать письмо к «своему аспиду», которого, однако, в письме именовала «сердечным другом», и купила расписную чашку с надписью: «Дарю в день андила». Часов около четырех дня в лавку влетела курносая молодая горничная, бросила на выручку два пятака и крикнула:

– Дай мне, пожалуйста, банку помады!

– Какой прикажете?

– Да такой, чтоб у ней, окаянной, все волосья с одного раза повывлезли! Сейчас только из бани приползла.

– Это вы про кого же?

– Известно, про нашу хозяйку. Вчера вечером со двора меня не отпустила, и мой предмет занапрасно в Александровском парке простоял. Нынче мне вдруг говорит: что это у тебя, Катерина, каждый день новый кум: то рыжий, то черный, то белокурый? И веришь ли, Селивестр Семеныч, ведь врет: как был рыжий, так и остался рыжий. Нет, я его ни на кого не променяю. Когда я у францужинки в меблированных комнатах жила, так ко мне чиновник из адресной конторы сватался, да я и то не пошла. Ах да, самое главное-то и забыла! Дай ты мне бутылку квасу баварского, да только какого-нибудь позабористее.

– Квас первый сорт. Хоть стреляйте пробкой, – проговорил лавочник, достал меня, бутылку, из чана и вручил горничной.

Та, как стрела, пустилась из лавочки. Под воротами с горничной встретился дворник, крикнул: «Ах ты, прозрачная моя!» – и любезно обхватил ее поперек тела. Горничная ударила его кулаком по носу и вырвалась. На лестнице ту же любезность повторил повар.

Через пять минут я была поставлена перед светлые очи хозяйки. Это была толстая купчиха, только что вернувшаяся из бани. Она сидела перед громадным самоваром красной меди и вздыхала. Волосы ее были распущены, а лицо несколько не отличалось своим цветом перед самоваром.

– Где это ты, Катерина, столько времени шлялась? – проговорила она ленивым голосом. – Откупоривай скорей, а то просто умираю от жажды. Четырнадцать чашек чаю охлостила и все запить не могу. Видно, горячим-то не запьешь. Где это ты так долго была?

– Где была, там теперь нет. Натя пейте!

Я была откупорена. Купчиха, как верблюд в пустыне, накинулась на заключавшийся во мне квас и без отдыха выпила все мое содержимое, проглотив даже муху, таракана и две моли, лежавшие у меня на дне. Через несколько времени она начала клевать носом и отправилась спать, а я, порожняя, была принесена в кухню и поставлена на окно.

Вечером к горничной пришел кум-солдат, но не рыжий, а черный, как жук. Горничная бросилась было варить кофий, чтобы угостить его, но он остановил ее:

– Вы, Катерина Ивановна, лучше бы водочкой попотчевали.

– Сделайте одолжение, можно и водочкой.

Горничная полезла под кровать, выдвинула оттуда сундук и начала доставать из сундука деньги. Перед глазами солдата мелькнула зелененькая бумажка и несколько мелочи. Глаза его разгорелись.

– Э-эх, – вздохнул он. – Уж больно я нынче насчет денег-то шибся! Казенный тесак потерял. Не куплю – беда! Засудят, а то так и на Белое море ушлют.

Горничная не обратила на это никакого внимания, захлопнула сундук и, взяв меня – бутылку, отправилась в кабак за водкой. Кабатчик, как водится, начал любезничать с ней и три раза щипнул ее.

– Да полноте вам шутки-то шутить! Давайте на гривенник, – жеманилась она.

У стойки стоял пьяный мастеровой. Около него помещалась жена его и упрасивала его идти домой.

– И с чего ты это загулял сегодня, Петрович, – говорила она. – Если бы праздник был, али узенькое воскресенье, али бы так с похмелья, а ведь ни того, ни другого, ни третьего.

– Нет, врешь! Есть с чего загулять! – куражится пьяный.

– Вот у этого орла жена померла!

Он вынул из кармана пятиалтынный и кинул его на стойку.

Кабатчик между тем влил в меня на гривенник очищенной. Горничная схватила меня и бросилась бежать. Пьяный мастеровой свистнул ей вслед и кинул в нее объедком яблока.

Вскоре я стояла в кухне, на столе перед солдатом. Он только что отпил из меня пол чайной чашки, хмурил брови, крутил ус и мрачно говорил:

– Я так, к примеру, понимаю, что ежели солдату со стороны не дадут, то ему и взять негде. Хоть бы теперича этот казенный тесак... Утерянную вещь прежде всего пополнить надо или каптенармуса угостить.

Разговор, очевидно, клонился к выманиванию денег. Еще полчашечки очищенной, чувствительный рассказ о том, как он ходил под хивинца и как ему «прострелили всю грудь наскрозь» – и трехрублевая бумажка из сундука горничной перешла бы в карман солдата, но горничную спас хозяин-купец. Он только что пришел из лавки, вошел для чего-то в кухню, пристально посмотрел на солдата и крикнул:

– Катерина! Что это за музыка! Опять у тебя гости! Каждый день кто-нибудь да сидит! Ну, ты просила рыжего кума к себе принимать, тебе позволили, а этот кто?

– Этот, сударь, мой дяденька! Он только что из похода пришел, – отвечала горничная.

– Знаем мы этих дяденек-то! Вот что, почтенный кавалер, отправляйся-ка ты подобру-поздорову в твои казармы. Нечего тут сидеть...

– Мы с ней, господин купец, не токмо что одного уезда и одной волости, но даже к примеру...

– С Богом! С Богом! Не проедайся! Мы не задерживаем.

Солдат начал уходить.

– Вишь у вас самоварник-то какой лютый! Как ты живешь у эдакого?

– Отойду, беспременно отойду. Черт с ними! Измучили они меня совсем.

Солдат остановился в дверях.

– Нет, я все насчет тесака, – сказал он. – Беда, коли ежели... А и денег-то всего два рубля...

– Уходи, уходи, Митрофан Кирилыч, – провожала его горничная. – Рассердится сам, так за дворником пошлет.

Солдат вздохнул.

– Отдай уж хоть водку-то ты мне, я дома допью, – пробормотал он.

– Возьми и уходи подобру-поздорову.

И я была отдана солдату. Он спрятал меня в объемистый карман своей шинели и начал спускаться с лестницы; но лишь только что вышел на двор, достал меня снова и выпил все содержимое; а меня, пустую бутылку, принес в казармы и поставил к себе под койку.

Здесь простояла я несколько суток, но в один прекрасный день услышала женский голос:

– Скажите, пожалуйста, голубчики: кто из вас здесь Митрофан Кирилыч, что от винного запойства лечит?

– Я! – отвечал мой новый знакомый.

– И помогаешь?

– Лучше Рукина и Истомина. Я одного капитана от смерти спас. На него уж и черти, и мыши, и змеи ползли, а теперь и глядеть на водку не может, даже дрожь понимает.

– Голубчик, вылечи... Вот, видишь ли, муж у меня... маляр его один по злобе испортил. Как зачертит, ну просто догола пропьется. Водила я его и к Рукину. Дал он ему чего-то выпить. Ничего, выпил, но только что от него из подъезда вышел – сейчас в кабак... Будь отец родной, попользуй.

– Можно. А вы какого звания?

– Столяры мы, небель немецкой работы делаем.

– Сами хозяйствуете?

– Сами.

– Три целковых стоить будет. Рубль за снадобье да два за леченье. Ну, да угощение с тебя.

– И заглазно лечить можешь?

– Могу.

– Голубчик, приуродь это самое снадобье к вечеру, я и деньги принесу!

Женщина ушла, а солдат принялся составлять лекарство. Прежде всего он достал меня из-под кровати и налил водой, потом задумался.

– Чего бы мне положить туда? – сказал он. – Стой, положу золы.

Он достал из печки золы и положил ее в меня, потом насыпал толченого кирпичу, квасцов, прибавил дегтю, выпросил у ламповщика керосину и тоже подлил туда, бросил кусок сахара, хотел уже закупорить меня, но вдруг остановился, достал из-под койки стеариновый огарок, наскоблил стеарину и тоже всыпал в меня. После всего этого я была закупорена и вечером отдана женщине с наказом поить этой смесью ее мужа каждый день на заре, а также подмешивать и к вину. Женщина отдала солдату три рубля, дала двугривенный на угощение и бережно понесла меня к себе домой.

Муж ее лежал пьяный на кровати.

– Савельич, я тебе снадобья принесла, полечить тебя хочу, – сказала ему жена.

– Немец снадобье-то дал?

– Нет, русский, простой солдатик. Капитана, сказывают, одного выпользовал да семерых купцов.

– Что ж, давай, только разбавь с водкой да прибавь маленько перечку.

Муж выпил.

– Фу, какая гадость! – проговорил он.

– Скусным-то, голубчик, не лечатся. А ты вот закуси булочкой.

В два дня столяр выпил все мое содержимое, но пить водку не бросил, а еще принялся за нее с пущей яростью. Откровенно сказать, я диву далась, как только мог он выпить эту гадость.

Как хорошая шампанская бутылка, я была выполоскана, и столяриха держала во мне сливки к кофию. В один прекрасный день она дала мальчишке-ученику гривенник и велела принести во мне из лавки сливок. Мальчишка исполнил приказ с точностью, но на обратном пути начал шалить, подбрасывая меня кверху, и, ловя, вдруг уронил.

Я упала на тротуар и превратилась в черепки. Содержимое мое разлилось. Мальчишка стоял надо мной и горько плакал. Вкруг его начала собираться толпа. Все судили-рядили.

Какая-то баба обмакнула в лужу сливок палец и попробовала на язык, какой-то мужик счел за нужное помазать сливками свои сапоги.

– Эх, молоко-то разлили! – говорил кто-то.

– Чудесно, господа, коли ежели этим самым молоком от грозы пожар тушить. Водой ни в жизнь не зальешь.

Мальчишка продолжал плакать.

– Бить будут? Строг хозяин-то? – приставала к нему купчиха в ковровом платке и в двуличневой косынке на голове.

– Строг, – сквозь слезы отвечал мальчик, – да к тому же он теперича пьяный. Ой, батюшки, батюшки!

– Чем бьет-то? – спрашивает мальчика извозчик.

– Когда аршином деревянным, а когда и так чем-нибудь. Прошлый раз рубанком по затылку хватил.

Начались рассуждения о том, как бить лучше.

– Рубанком как возможно, рубанком можно человека изувечить, – рассказывал какой-то чиновник в фуражке с кокардой, – а на это есть свое положение, утвержденное древнейшими мудрецами. Прежде всего, возьми и вырви из метлы прут, потом, схватив младенца за ухо, ущеми его между колен и дери без боязни, доколе сил твоих хватит.

Вскоре подошедший городской разогнал толпу. Купчиха сунула мальчишке гривенник.

Я лежала на тротуаре в самом униженном и оскорбленном виде. Горла, на котором когда-то блестела золотистая смола, у меня не было. Я превратилась в ничтожные черепки. Ко мне подошел дворник и начал сметать мои смертные останки с тротуара.

– Эге, – проговорил он, – днище-то еще цело и может пригодиться. Постой, завтра нужно будет конопляным маслом с сажей тумбы мазать, так я вот сюда его и волью. А то так и скипидар для площадок держать, когда ежели иллюминация.

Он поднял мое днище и отнес в дворницкую, а наутро я была наполнена постным маслом с сажей, и этой смесью дворники принялись мазать тротуарные тумбы. Проходившие мимо барыни задевали платьями за тумбы и, само собой, пятнали свои платья.

– Ничего, потрись, потрись около тумбы-то! – говорили им вслед дворники. – Вишь, подол-то распустила, словно павлин заморский!

Я стояла на тротуаре, униженная и оскорбленная, и вдруг – о, судьба! – увидела проезжавшего мимо на лихаче «купеческого савраса», того самого савраса, который некогда, быв в французском ресторане, так безобразно потратил мою искрометную шампанскую влагу, вылив ее на голову лошадям. Тогдашнее мое величие и теперешнее ничтожество! Мне было совестно смотреть на него. Я вздрогнула и опрокинулась.

– Эх, дуй те горой! – проговорил дворник и кинул меня в мусорную яму, где я теперь, как благодееяния, жду пришествия какого-нибудь тряпичника, который бы поднял меня и отнес на стеклянный завод, для возрождения к новой, быть может, лучшей жизни, уже не в форме бутылочного стекла, а в форме блестящего граненого и шлифованного хрусталя.

У. Из записок садовой скамейки

Я столбовая... скамейка. Папенька мой был фонарный столб и занимал когда-то видный пост на набережной Черной речки, служа по министерству народного освещения, но, подгнив снизу, покривился, оказался негодным и был распилен на доски. Я одна из досок его и теперь состою в должности скамейки в Строгановом саду. Меня поддерживают два обрубка. Один мой муж, другой... друг дома. Оба они когда-то служили по телеграфному ведомству. Я не стыжусь, говоря о друге дома. Муж знает об нем и молчит, потому что чувствует, что один он не в состоянии поддерживать меня. Даже мало того, муж ежесекундно видит друга дома, и никогда между ними не происходит ссоры. Они всегда на почтительном друг от друга расстоянии. Муж поддерживает один конец моей доски, друг дома – другой. Между ними одна разница: к мужу я прибита гвоздями, тогда как к другу дома ничем не прибита и опираюсь на него без всяких уз. Я одинаково люблю как того, так и другого, одинаково с ними ласкова и не хитрю перед мужем, не надуваю, выдавая друга дома за какого-нибудь кузена. Но, боже, как хитрят люди друг перед другом, находясь в положении, подобном моему! Какие комедии разыгрывают они! Одна из таких комедий разыгралась при мне, даже на мне, и ее-то я хочу поведать читателям моих записок.

Было дело в послеобеденную пору. День был прекрасный, жаркий. Ко мне подошли муж и жена. Муж был не старый еще человек, блондин с бакенбардами в виде отбивных котлет. Голову его покрывала соломенная шляпа; одет он был в серую пару. Жена была рыхлая женщина, тоже блондинка, полная из лица. Кружевной фаншончик покрывал ее голову. Серое платье с красным кантом обтягивало ее стан. Они шли под руку и называли друг друга Ванюрочка и Машурочка.

– Устал, Ванюрочка? – спрашивала она.

– Устал, Машурочка, – отвечал он, снял шляпу и отер лоб и начинающее уже лысеть темя.

– Это хорошо, Ванюрочка. Моцион необходим после обеда. Еще четверть часика хоть бы...

– Но я хочу сесть, Машурочка, и почитать газету. Вот и скамейка. Смотри, какая прелестная тень.

– Ах, друг мой, ты знаешь, доктор прописал тебе движение. И что это далась тебе эта газета?

– Ангел мой, я патриот, понятно, что меня должны интересовать известия с театра войны. Ты погуляй одна, а я здесь посижу и почитаю.

– Нет, нет, я ни за что не оставлю тебя одного. Ты сейчас начнешь любезничать с проходящими няньками и мамками. Наконец, здесь прогуливается эта генеральская содержанка. Ты думаешь, я не видала, как прошлый раз ты поднял ей зонтик, когда она его уронила, и, подавая, что-то шепнул? Нет, я с тобой останусь. Я сама патриотка. У меня и платье солдатское с кантом.

– Но тебе будет скучно. Я буду читать газету.

– Газету ты можешь читать вслух, а я буду слушать.

Муж и жена садятся.

– О, Ванюрочка! – восклицает она и щиплет его за щеку.

– О, Машурочка! – как-то стиснув зубы, произносит он и нежно обхватывает ее за талию.

Раздается звонкий поцелуй взасос и прямо в губы. Я уверена, находишь здесь лошадь, она бы сейчас тронулась, приняв это чмокание за понукание.

– Ну, я слушаю.

– Горный Студень... – читает муж.

– Какой же это такой особенный студень, что я никогда о таком не слыхала? – спрашивает жена.

– Это местечко такое в Болгарии.

– Местечко? А я думала, ты про студень. Зачем же оно так зовется?

– А затем, что около него есть, действительно, богатые залежи горного студеня. В горах в Балканах...

– И есть его можно?

– Еще бы. Все болгары им питаются. Прелестное кушанье. Болгария ведь – это самая благодатная страна. Там и горное масло, и горный студень. Эта страна роз и фабрикации розового масла. Розовое масло там нипочем. У нас оно продается на вес золота, и им архиереи только руки свои мажут, а там каждый болгарский мужик с ног до головы им обмазывается и весь благоухает. Ну, я начинаю.

Муж читает корреспонденцию из Горного Студеня. Жена зевает.

– Нет, я лучше действительно немножко пройду, – говорит она. – Как ни жалко мне тебя оставить, но я пройду. Я пойду на горку и выпью лимонаду. Пить хочется.

– Что ты! Что ты! На горку одну я тебя ни за что не пущу! Там всегда этот отставной офицер за пивом сидит. Ты думаешь, Машурочка, я не видел, как ты ему глазки делала? Иди и гуляй около парома, тогда я буду спокоен.

– Ну хорошо, я пойду к парому. А ты не будешь любезничать с няньками? Смотри, я следить стану.

– Честное слово, не буду, – отвечает муж. – Ах да! – спохватывается он. – Я и забыл тебе сказать: у нас сегодня в конторе экстренное вечернее заседание директоров, и я к десяти часам поеду в город, и уж оттуда не вернусь, а буду ночевать у Федора Семеныча. Как ни горько мне это, но долг службы...

– Ванюрочка! Что же я-то? Я всю ночь проплачу. Приезжай хоть попозднее.

– Нет, Машурочка, и не жди. Заседание часов до четырех утра продолжится. Что это, слезы? Да пойми ты, что долг службы. Ах, как ты терзаешь меня! Ты думаешь, мне не больно?..

– Ну, молчу, молчу, – говорит жена, отирая платком свои глаза. – До свидания, я буду у парома.

– Ступай с Богом. Я сейчас же буду за тобой следом. Только вот корреспонденцию прочту.

Жена уходит. Муж плюет.

– Вот надоела-то! Ревнива, как черт, – произносит он, кладет на скамейку газету и начинает посвистывать.

На дорожке показывается пикантная брюнетка в малороссийском костюме и с зонтиком.

– Слышу, слышу, – восклицала она, слегка картавя. – Ах, мой душка! Ах, мой Ваничка! Ну, целуй скорей!

Брюнетка растопырила руки.

– Постой, не глядит ли кто? – озирается он по сторонам и заключает наконец ее в свои объятия. – Радуйся, Каролинхен! Сегодня я от жены освободился на всю ночь. Наговорил ей черта в ступе – про экстренные заседания, и часа через три – я твой. В десять часов я буду здесь, на этой скамейке, и ты ожидай меня. Мы отправимся в Зоологический сад, оттуда к Палкину ужинать. Одним словом, время проведем...

Ваничка приложил свои пальцы к губам и чмокнул, как-то припрыгнув; он совсем преобразился и из вялого увальня превратился в какого-то прыгающего козленка. Впрочем, что я! В эту минуту, как вы увидите впоследствии, он походил не на безрогого козленка, а на большого рогатого козла. Каролинхен обхватила его за талию и, посадив с собой рядом на скамейку, положила ему голову на плечо.

– Ваничка, а браслета моя готова? – нежно спросила она.

– Готова, моя птичка, но сегодня я не успел взять ее от золотых дел мастера.

– Ваничка, я ревную тебя к твоей жене. Ты все с ней, все с ней, а я одна...

– Друг мой, с управляющим нашей конторой я как секретарь его бываю вместе еще больше, чем с женой, но из этого ничего не следует. Для меня она все равно что для волка трава; хуже: все одно что для собаки горчица. Наконец, я сегодня твой, твой и твой.

– Ваничка, я люблю тебя одного, как есть одного, а ты любишь, кроме меня, и жену...

– Говорю тебе, что я ее ненавижу! А что она то и дело со мной, так я от нее ни крестом, ни пестом не могу отбиться. Что же делать, коли я связан по рукам и по ногам! Она ревнует меня даже к нашему артельщику.

– Ваничка, у меня хозяин деньги за дачу требует. Мне так совестно, но...

– Теперь при мне нет денег, Каролинхен. Я гулять вышел. Ужо я тебе дам. Приходи в десять часов сюда и жди меня на этой скамейке.

– Он хотел через час зайти.

– Ну, уприси его подождать до завтра. Невелика важность – один день. А теперь, мой друг, до свиданья. Я пойду к жене. Она ждет меня у паррома.

– И я с тобой...

– Что ты, что ты! Ты останься здесь. Увидит с тобой – беда! И тогда уж мне ни на какое экстренное заседание не урваться.

– Милый мой, ты не поверишь мне, как я тебя ревную к твоей жене! – воскликнула Каролинхен и, бросившись к Ваничке на шею, обняла его. – Так в десять часов?

– Да, в десять часов. Прощай, мой черный тараканчик.

Ваничка тронулся с места, но, сделав несколько шагов, обернулся и послал Каролине летучий поцелуй. Каролина сделала то же самое. Они расстались.

Пауза. Каролина сидела. По дорожке слышались чьи-то шаги. Кто-то ударял палкой по кустам.

Вскоре показался отставной военный в фуражке с красным околышем и подошел к Каролине.

– Ну что, выманила у него пятьдесят рублей за дачу? – спросил он сиповатым голосом.

– Нет, Миша. Он ужо в десять часов даст. Велел сюда приходить, зовет гулять в Зоологический сад, – отвечала Каролина.

– Как ужо? С чем же я отправлюсь в Благородное собрание? Ведь вчера я проигрался, как греческая губка. Ни копейки у меня нет. Четверку табаку в табачной в долг взял. Нет, я тебя не отпущу. Я сам намерен с тобой идти гулять в Ливадию. Заложу жиду в Сердобольской улице брошку, и пойдём.

– Брошку я тебе не дам.

– Ну, это еще мы посмотрим!

– Но пойми ты, Миша: ежели я сегодня не поеду с ним в Зоологический сад, тебе и завтра не с чем будет отыгаться. Миша! Ты знаешь, как я тебя искренно люблю! Ведь Ваничку этого поганого я только за нос вожу. Ну, посуди сам, можно ли его любить? Плешивый, неповоротливый, как теленок. А ты? Ты прелесть что такое. И что мне в тебе нравится, – это твои усы... Как это по-русски называется... храбрые?

– Воинственные, – поправил ее усач и, притянув к себе, чмокнул в щеку. – Ну, поезжай, поезжай с ним. Да лупи уж не пятьдесят рублей, а семьдесят пят. Что его жалеть-то? Ну, пойдём на горку. Угощу лимонадом с коньяком. Там в буфете мне в долг верят.

Парочка отправилась на горку. Я осталась пуста. Вдруг опять чьи-то шаги, и я увидела Машурочку. Она шла и озиралась по сторонам. Увидав, что на мне никто не сидит, она обернулась и стала манить к себе виднеющегося в отдалении мужчину. Тот подошел. Это был рослый брюнет в черной сюртучной паре, застегнутой на все пуговицы. На шее его красовался

малиновый галстук, на голове была черная фуражка. Он нетерпеливо пощипывал густую, подстриженную бороду.

– Ну и что же дальше будет? – спросил он, подходя, и подбоченился.

– Дальше ничего не будет, – отвечала Машурочка. – Посидим здесь, побеседуем. Ах, Петя, Петя! Ты меня совсем не любишь! – с упреком произнесла она, взглянув ему прямо в глаза.

– За что ж тебя так особенно-то любить?

– Как за что? Я для тебя мужа обманываю. Ревнив, как турок! Теперь он, поди, ходит около парома по аллее да с ума сходит, ищет меня. Сегодня вместо того, чтобы квартиру караулить, так как муж на целую ночь уезжает в город, я с тобой гулять на Крестовский еду. Это ли не любовь?

– Хороша любовь, нечего сказать! Второй месяц прошу, чтобы ты мне часы с цепочкой купила. Обещаешь, и все ни с места!

– Ах, Петя! Да откуда же мне взять? Я и так тебе каждую неделю по пяти рублей даю. Больше я не могу урвать от хозяйства.

– Важное кушанье – пять рублей! Выуди у мужа из бумажника. Нешто он может на жену подумать? У нас одному певчому одна купчиха бриллиантовые запонки и бриллиантовую булавку подарила. Так тот тенор, а я бас. Басы всегда должны себя дороже ценить.

– Ах, Петя, Петя! Как не стыдно тебе это говорить? Я тебе шубу сшила зимой. Стыдись!

– Стыд не дым, глаза не ест. Слышишь, чем нам по Крестовскому шляться, не лучше ли у тебя вечер просидеть? Наставь самовар, купи бутылку коньяку...

– Что ты! Что ты! – замахала руками Машурочка. – А Акулина? Муж до того ревнует меня, что даже кухарку Акулину подкупил. Она все ему расскажет. Наконец, соседи. У нас на Черной речке зевнешь лишний раз, так и то соседи знают. Нет, нет! Приходи в десять часов сюда, на эту скамейку, и жди меня. Приду и я. Отсюда мы и отправимся.

– Ну ладно. А ты принеси мне мужнино пальто. А то у меня пальта нет, а так холодно на Крестовский.

– А ты отдашь мне его потом? Петя, не потому, чтобы я тебе жалела, а муж спохватится. Ну, что я ему тогда скажу?

– Дура!

– Да что дура. Прошлый раз надел мужнин пиджак и не отдал. Уж я виляла, виляла перед мужем-то. Насилу его разуверила, что пиджак цыганка украла, когда он был вывешен на двор для проветривания. Ну, прощай! Боюсь мужа... пора. В десять часов здесь. Оставлю Акулину караулить дачу, а сама к тебе. Прощай, мой жизненочек!

Машурочка хотела его обнять, но тот отстранил ее.

– Жизненочек! – передразил он ее. – Дай хоть два двугривенных. Шутка ли – до десяти часов ждать! За это время я хоть бы пивом на бочке душу отвел. Ей-ей, ни копейки! Давеча в Новой Деревне последний рубль маркеру проиграл.

– Возьми, моя милашка, возьми!

Машурочка достает из кармана целковый и сует ему его в руку.

– Вот за это спасибо! – восклицает певчий. – Тут и на порцию раков хватит. Мерси вас с бонжуром. За это и поцеловать можно.

Он привлекает женщину к себе и запечатлевает в уста ее звонкий поцелуй.

– Ах, Петя, Петя! – млеет та и, вырвавшись из объятий, бежит домой.

Певчий засвистал и отправился на горку.

После этого я целый час стояла пуста. Мне уже сделалось скучно, как вдруг ко мне подошла новая парочка. Это был пожарный из Сердобольской улицы от каланчи и кухарка в туго накрахмаленном ситцевом платье. Они остановились.

– Что же ты стала? Вглубь пойдем, – проговорил пожарный.

– Нет, Спиридон Иваныч, не могу. Ведь меня хозяйева в булочную послали, а вы меня вглубь совлекаете. Ей-богу, не могу, – ругаться будут. У меня самовар в кухне поставлен, – отвечала кухарка.

– Ах, Акулина, Акулина! Я думал, ты баба ласковая, а ты выходишь совсем пронзительная!

– Где ж это вы пронзительность нашли! В вас души не чают, ситцевые рубашки вам дарят, а вы – пронзительная! Ведь господа ждут. Вот уж сколько хотите променажу можем делать. Барин в город на заседание уедет, а сама к тетеньке. Запру дачу и к вам. Приходите на это место и ждите меня вот на этой скамейке. В десять часов я здесь буду.

– А не надуешь?

– Господи! Когда же я надувала! Мало того, я еще вам пирога принесу и бутылку пива.

– Побожись!

– Ну вот, ей-богу, приду. Да там у нас коньяк есть на доньшке, и коньяку принесу.

– Ну, ступай! Только смотри, не придешь – бить буду. Ученье в Троицын день помнишь?

– Где забыть! Еще и посейчас бок болит.

– Ну, ступай!

Гремя туго накрахмаленным платьем, кухарка стремглав бросилась от меня, а пожарный лениво пошел своей дорогой.

Вечером, в десять часов, они сошлись все вместе. Но тут я уже отказываюсь описывать эту сцену. В глазах моих все перемешалось. Мелькал Ванюбочка, мелькала Машурочка, размахивал руками басистый Петя, всем и каждому расточая затрещины, визжала Каролина, ревел пожарный, выла Акулина.

Скажу одно: битвы при Ватерлоо и при Аустерлице не были ужаснее этой битвы! Достаточно вам сказать, что были даже порваны узы, коими я была связана с моим законным обрубом. Я отлетела от гвоздей и валялась два дня на траве.

Я кончаю.

VI. Похождения сахарного яйца

В субботу, на Страстной неделе, в ту самую кондитерскую, где я, сахарное яйцо, висело в витрине в сообществе с другими яйцами, вошел пожилой купец с рыжей подстриженной бородой и, подойдя к продавальщице, выпалил:

– Есть у вас такое сахарное яйцо, которым даже с генералом не стыдно похристосоваться?

Продавальщица сначала с легким недоумением посмотрела на купца, а потом отвечала:

– Есть, – и начала предлагать купцу самые разнообразные яйца.

– Крупнее, крупнее, госпожа мадам, мне нужно, а это все не тот коленкор! – кричал купец. – Еще обидится, пожалуй, на мелкое-то, потому чин на нем крупный. То есть, хотя он и не генерал, а все-таки по статскому положению давно на линии генерала. Жене моей кум он приходится. Жида она с ним крестила.

Внимание купца остановилось на двух: на мне, большом сахарном яйце, и на шоколадном.

– Вот задача-то! Не знаю, которое и взять, – сказал он. – И то, и другое хорошо! Для пожилого-то человека, я думаю, шоколадное лучше, не так марко. Белое-то, скорей, для барышни... Какое, мадам, вы посоветуете?

– Это зависит от вашего вкуса.

– Что мой вкус! Ведь не я его есть-то стану. А мы вот что сделаем: мы на перстах погадаем. Коли сойдутся персты, то сахарное возьмем, а нет, то шоколадное.

Купец погадал на пальцах, вышло сахарное, и я очутилось в его владении. Он принес меня домой, повесил над конторкой на гвоздике и, обратясь к своим ребятишкам, произнес:

– Ежели кто из вас это самое яйцо лизать будет, то сейчас выдерну из-за божницы пук вербы и отхлещу вас на обе корки. Не посмотрю, что и страстная суббота.

В первый день Пасхи, часов около одиннадцати утра, купец надел новый сюртук, повязал белый галстук и, повесив на шею медаль, посмотрелся в зеркало.

– Еще и за полдень не перевалило, а уж все губы себе обхлестал, так что даже пухнуть начали, – пробормотал он. – С парой сотен душ, пожалуй, уже успел перехристосоваться, не считая жен и младенцев. Ну, Алена Степановна, прощай! Я к нашему генералу! – крикнул он жене.

Купец взял меня, сахарное яйцо, с собой и через полчаса христосовался с гладко бритым пожилым мужчиной в гражданском мундире и при шпаге.

– Пожалуйте, ваше превосходительство, – проговорил он, подавая меня. – Примите прямо от чистого сердца. Это кума ваша вам прислала.

– Но... но... но... – остановил его чиновник. – Пока еще не превосходительство, а только высокородие.

– Для нас это ничего не обозначает, а только все-таки вы на генеральской линии, и мы должны почитать.

Начались обычные вопросы: «Где были у заутрени?», «Жарко или холодно было стоять?».

– У Исакия, ваше превосходительство. Сверху парило, а снизу из дверей поддувало, ну да к этому продувному климату мы уже в лавке привычны, – отвечал купец и замялся перед уходом. – Дельце есть, ваше превосходительство, – сказал он. – Вы вот там, в приюте, наибольшим состоите, так хочу и я рубликов на сто пожертвование сделать, но так, чтобы моя физиономия заметна была и чтоб на вид попасть.

– После, после об этом поговорим, – перебил его чиновник. – Вы зайдите как-нибудь в будни, а теперь мне некогда, надо визиты делать.

Купец ушел, как не солоно хлебал. Я, сахарное яйцо, осталось у чиновника. Он повертел меня в руках, полюбовался и крикнул:

– Глаша!

Вбежала молоденькая и хорошенькая горничная.

– Что прикажете, сударь? – спросила она.

– Христос воскрес! Подставляй губы!

– Что вы, Иван Иванович? Второй-то раз? Ведь уж я с вами христосовалась.

– Ничего не значит. За такое-то яйцо и второй раз похристосоваться не мешает. На, получай в вечное, потомственное владение! Это мне сейчас купец принес.

– Мерси вам, коли так. А только, сударь, ежели бы я знала, что вы при вашей старости и вашем вдовом положении такие шутники, ни за что бы к вам служить не пошла! – захихикала горничная.

– Ну-ну, соловья баснями не кормят, – ответил чиновник и, обхватив горничную в охапку, три раза чмокнул ее в губы.

– Ах, как вам не стыдно! Только я, сударь, это самое яйцо своей маменьке крестной снесу. Она купеческого рода и при своем богатстве может мне на платье хорошей материи за такой подарок подарить. А яйцо куда мне?..

– Ну, там как хочешь, а только будь ко мне поласковее, – ущипнул горничную за щечку чиновник и уехал делать визиты.

Я очутилось в распоряжении горничной. Она взяла меня и понесла к своей маменьке крестной.

Вдова-купчиха сидела около стола с закуской, на котором были поставлены и окорок ветчины, и пулярка фаршированная, и пасха, и кулич, и яйца, и вздыхала.

– Ох, как под сердце подкатило с этой ветчины! – говорила она. – Ведь вот, кажись, глазами-то и еще чего-нибудь съела бы, а утробой не могу.

– Христос воскрес, маменька крестная! Вот вам яичко! Не взывайте на малости. Наши труды маленькие. Большого подарка не могу... – заговорила вошедшая горничная.

– Воистину воскрес!.. Только напрасно ты это изъяснишься, душенька, – отвечала купчиха. – Ну, давай похристосуемся. Только к левой-то щеке полегче прижимайся, потому у меня флюс начинается. Должно быть, за заутреней надуло. Ну, садись. Ветчинки не хочешь ли да мадерки рюмочку? А за яйцо твое я тебя сейчас отдарю. Марфа! Принеси мне синее гронран-мореевое платье! – крикнула она кухарке. – Оно мне в поясах не сходится, а тебе в самый раз будет.

– Премного вам благодарна, маменька крестная; только неужто мы из-за этого?.. Мы и без корысти вас почитаем.

Горничная напилась кофию, забрала платье и ушла, а я, сахарное яйцо, осталось у купчихи. Вошел кудрявый молодой человек с рыжеватыми усиками.

– Петя, Петя! Голубчик! Христос воскрес! – воскликнула купчиха и повисла у него на шее. – А я жду и не дождусь. Думаю: когда же это он явится?

– Воистину воскрес! А только не хотел я и идти к вам. Ну что, какая мне корысть от вас? – заговорил он. – Люблю вас пламенной скоропалительной любовью и даже верности, можно сказать, к вашим чувствам отменной, а только никакой радости от вас. Думал, что вы мне за мою любовь к празднику лавку откроете, а вы при своей скупости на сторублевой бумажке отъехали, и я по-прежнему у своего хозяина на приказчицком существовании обязан существовать.

– Дурашка! Да ведь вот все сомнение меня берет. Думаю так, что я тебе лавку открою, а ты меня бросишь.

– Гроб! Могила! – ударил себя в грудь молодой человек. – Вот какова наша неизменность!

– Ну, я насчет лавки подумаю, а пока вот тебе сахарное яйцо от меня, – сказала купчиха и передала меня молодому человеку.

– Спасибо. С паршивой собаки хоть шерсти клок. Только нам этот сувенир все равно что корове седло. А мы вот что сделаем: мы это яйцо нашей хозяйской дочке подарим. Авось, через то наш хозяин будет ласковее и начнет почаще со двора нас отпускать.

– Только уж ты ко мне ходи, а в другие места не бегай, – попросила купчиха.

Молодой человек ушел, взяв меня с собой, и – дивное дело! – я опять очутилось в квартире того купца, который меня купил. Кудрявый молодой человек оказался приказчиком этого купца, а купец был уж дома и сидел пьяный посреди своей семьи, когда вошел приказчик. Старшая дочка купца, девушка лет шестнадцати, была тут же.

– Не обессудьте, Варвара Дмитриевна, – сказал приказчик, подходя к девушке. – Но давеча я не имел достойного яйца, чтоб похристосоваться с вами, а теперь – Христос воскрес!

– Воистину воскрес! Но только не в губы и всего один раз! – вскрикнула девушка, но похристосовалась.

Приказчик подал ей меня, сахарное яйцо.

– Дивное дело! – сказал купец. – Точь-точь такое, что я давеча генералу снес.

– Да это, папенька, оно самое и есть, – отвечала девушка. – Вот и заметка. Когда вы это яйцо принесли, то не велели братишкам его лизать, а они не послушались да и откусили от него цветок. Вот и впадина, где был цветок.

– Не может быть, – пробормотал купец, взяв меня в руки и рассматривая. – Так и есть: впадина! Вот и озубки. Где ты взял это яйцо? Признавайся! – крикнул он на приказчика.

– Ей-богу, в кондитерской лавке купил.

– Врешь, врешь! Ну да я сейчас разузнаю! Я у генерала спрошу, цело ли у него яйцо.

Пьяный купец вскочил с места, надел на себя пальто, меня, яйцо, положил в шляпу и, надев ее вместе со мной на голову, выбежал стгоряча из квартиры.

– Дмитрий Павлыч! Опомнись! Куда ты? – кричала ему вслед жена, но он не унимался и бежал по лестнице вниз.

На последней площадке повстречал купца знакомый. Он шел к нему в гости.

– Христос воскрес! – воскликнул знакомый.

– Воистину! – отвечал купец и, забывшись, снял с головы шляпу, чтобы похристосоваться со знакомым.

Я, сахарное яйцо, выпало из шляпы и разбилось вдребезги. Купец стоял надо мной и чесал затылок.

– Вот поди ж ты какая незадача! И допытаться не удалось насчет яйца-то... – пробормотал он.

VII. Новогодние похождения визитной карточки, ею самую описанные

– Слава богу, швейцара нет и полтинник сохранен у меня в кармане! – пробормотал себе под нос в первый день нового года мой тезка и однофамилец Петр Иванович Поддиванов – мужчина средних лет, юркнул в подъезд и побежал вверх по лестнице, но в это время где-то сбоку отворилась дверь каморки, и перед ним, как из земли, вырос швейцар в фуражке с позументом и в ливрее с металлическими пуговицами.

– С Новым годом, с новым счастьем, ваше высокородие! Желаю вам сто лет здравствовать! – крикнул он, вытянувшись в струнку.

– Спасибо, – отвечал мой тезка, остановился, полез в кошелек и спросил: – Василий Степаныч Иванов дома?

– Никак нет-с! Мне приказали лошадь заложить и уехали сейчас по Невскому кататься.

– Как лошадь? Да ведь у них нет лошадей.

– Не было-с, а теперь завели. Как только анжину дали отставку, а купца приманили, так у них и лошади явились и в гору они пошли.

– Странно! – пробормотал мой тезка. – Удивительно, как он вдруг поднялся! Может быть, домашние дома? – задал он вопрос.

– Кухарка и горничная дома.

– Чудак! Я о членах его семейства спрашиваю. На вот тебе на чай и передай мою карточку.

Тезка мой ушел, а я, карточка, осталась у швейцара.

– Новый хахаль к Василисе-то Ивановне приезжал, – сказал швейцар жене. – Только уж этот не по ней: сквалыжник и всего полтину мне дал. К содержанке приехал, а швейцару полтину! Ах, черти! Возьми вот карточку да передай в ее квартиру.

Швейцарова жена пошла наверх и позвонила в квартиру содержанки Василисы Ивановны Степановой.

– Барин сейчас принес, – пояснила она, передавая меня, карточку, молоденькой горничной. – Жадный-прежальный! Мужу всего полтину дал.

– Ну, этот у нас со своей жадностью не пообедает, – отвечала горничная. – «Петр Иванович Поддиванов», – прочла она. – Не слышали такого. Такой к нам не ездит. Разве, может быть, наша в маскарде на прошлой неделе с ним познакомилась?..

Горничная взяла меня, карточку, и заткнула за зеркало в гостиной. Вскоре приехала сама Василиса Ивановна – молодая, но сильно уже помятая женщина и прикрашенная произведениями парфюмера Рузанова.

– Никто не был? – спросила она, снимая с себя бархатную шубку, опушенную соболями. – Мирон Парфеныч не приезжал?

– Мирон Парфеныч не приезжал, – докладывала горничная. – А вот кто-то швейцару карточку для вас привез.

– «Петр Иваныч Поддиванов», – прочитала Василиса Ивановна и сказала: – Фу, какая глупая фамилия! Никакого Поддиванова я не знаю. Разве, может быть, это тот самый офицер, что в прошедшее воскресенье меня по Невскому на лихаче обгонял? – задала она сама себе вопрос.

– Право, уж не знаю. Только, говорят, очень сквалыжный человек. Швейцару всего полтинник дал.

Василиса Ивановна бросила на стол меня, карточку, и прибавила:

– Вот что, Груша, возьми и брось куда-нибудь эту карточку, а то Мирон Парфеныч ее увидеть может и еще, чего доброго, приревнует меня. Сегодня он, пожалуй, пьяный приедет, и может скандал выйти.

Горничная принесла меня к себе в комнату. Там у ней сидел гость, молодой лакей с закрученными усами, курил папироску и пил кофий из расписной чашки с надписью: «Дарю в день андила».

– Что это у вас в распрекрасных ручках? – спросил он.

– Карточка. Это мне один антиресный кавалер подарил, – отвечала горничная. – Я с ним в Немецком клубе познакомилась, и он ту механику ведет, чтоб я его полюбила, потому что он ужаси как врезавшись в меня. Сейчас приезжал ко мне в гости с парадной лестницы, но так как узнал, что барыня дома, то не захотел входить и подарил мне карточку и три рубля в виде сувенира.

– Может, это одна пустая словесность с вашей стороны? – протянул лакей. – Покажите-ка карточку.

. – Пустой словесностью мы не занимаемся, – проговорила горничная, передавая меня лакею. – Полюбуйтесь: вот и корона над фамилией.

– Батюшки! Да этого господина мы очень чудесно знаем! – воскликнул лакей. – Это жених нашей барышни и сегодня у нас обедать будет. Вот поди ж ты! А наш генерал души в нем не чает. Сам разыскал его и свою старшую дочь за него замуж отдает.

– Намучается с ним ваша барышня. Такого капризного кавалера насчет нашей сестры я и не видывала.

– Поди ж ты! А ведь какой тихоня да солидный с виду-то! Воды не замутит.

– Коварные мужчины завсегда так. В них четыре лукавых змеи сидят.

Лакей взглянул на часы.

– Однако, прощайте! Пора. И то наш барин ругаться будет, – сказал он, вставая. – Послал он меня только с двумя карточками и велел скорей домой, а я к вам на минутку и уж с полчаса у вас сижу. Карточки же этой я вам не отдам. Нечего с коварными мужчинами вам знаться!

Лакей спрятал меня в карман и ушел.

– Где ты, болтун эдакий, до сих пор шатался? – встретил лакея разгневанный барин. – Никуда послать нельзя! Словно в пропасть провалишься! Новый год, а лакей шляется!

– Я не шлялся, сударь, а дело делал. Мы хоть и лакеи, а может быть, лучше другого господина видим. Дозвольте слово сказать по большому секрету. Только, чтоб я был в стороне.

– Что за таинственность! – протянул барин. – Ну, говори.

– Извольте карточку получить... – подал ему меня лакей.

– Что это такое? Карточка Петра Ивановича Поддиванова. Где ты ее взял?

– Да-с, карточка нашего жениха. А где я ее взял – тут большая история. Посылали вы меня к господам Стакановым с конвертиком. Только это я им отдал его и по лестнице схожу, глядь – около квартиры содержанки Василисы Ивановны Степановой стоит наш Петр Иваныч и с ейной горничной в амуры входит. «Очень, – говорит, – я тебя, Груша, люблю и вот тебе два целковых и мою карточку на память». Сунул ей в руки, в губы ее поцеловал и ушел, а меня не видел, потому я за углом стоял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.